

АЛЕКСАНДР КОЛЮЧИЙ

ВЕДОМОСТЬ

НАВЫК ОТКРЫТ

СТРУЯ · I



РЕАЛРПГ

СИСТЕМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ

I

Системный Пожарный

Александр (Колючий)

Системный Пожарный I

«Автор»

2026

(Колючий) А. Л.

Системный Пожарный I / А. Л. (Колючий) — «Автор»,
2026 — (Системный Пожарный)

Пятнадцать лет стажа, две тысячи выездов... А погиб, вытаскивая ребёнка из горящей расселёнки. Очнулся в теле нищего дворянского недоросля. Наследство небогатое: сестра двенадцати лет, четыре рубля двадцать копеек и самый смешной Дар империи — бытовая Влага. Ею хорошо не давать воде киснуть в погребке и сушить портянки. А ещё в первый же день на стол кладут отцовский вексель. Триста рублей долгу, срок — Покров. При неуплате сестру запишут в людство чужого рода... Ну и в голове завелась счётная контора для полного счастья! Причём считает она не спасённых, а лишь убыток, которого не случилось. И растёт он только с этого. Ещё и Зарядье горит каждую пару дней. Пожарных труб тут на всю Москву три, а рабочая из них вообще одна!

© (Колючий) А. Л., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Кровля не держит	5
Глава 2. Чужие руки	9
Глава 3. Закладная	14
Глава 4. Четыре тысячи сто семнадцатый	18
Глава 5. Отцовский сундук	23
Глава 6. Соляной амбар	27
Глава 7. Три дня	31
Глава 8. Правое слово	35

Александр (Колючий) Системный Пожарный I

Глава 1. Кровля не держит

— ОТБОЙ! ВСЕМ ОТБОЙ! НА ВЫХОД!

Рация захрипела так, будто её саму взяли за глотку. Пахомыч. Двадцать лет мужика знаю, и орал он так один раз в жизни — когда у него на глазах звено под перекрытие ушло.

— Горев! Кровля садится! Всем вниз, я сказал!

Да слышу я, слышу. Я старый, но пока не глухой.

Я стоял на площадке девятого этажа и смотрел вверх, в лестничный пролёт, где ворочалось чёрное. Дым шёл жирный, тяжёлый — пластик, проводка, вся эта красота, которой люди набивают квартиры, а потом ею же и травятся.

Вниз — это правильно. Вниз — это по уставу. Внизу штаб, внизу скорые, внизу мать — я её видел, когда мы заходили: её держали двое из оцепления, и она уже не кричала, а просто выла.

Потому что наверху, на десятом, в сорок третьей квартире, осталась её дочка. Семь лет.

— Первый, я Горев, — сказал я в рацию. — На десятом ребёнок. Поднимусь.

— Горев, твою мать! Кровля держит четыре минуты! Четыре!

Четыре. Так бы сразу и сказал.

Считаем. Подъём — сорок секунд. Найти ребёнка — минута: дети не разбегаются по квартире, дети прячутся, и прячутся всегда в одних и тех же местах. Обратно — как получится. Итого укладываюсь. С запасом.

Ладно, честно: без запаса.

— Успею, — сказал я и полез.

Страшно не было. Не потому, что я герой, — герои в нашем деле долго не живут. Просто страху нужно свободное место в голове, а у меня там уже сидел секундомер и щёлкал. Двадцать семь лет щёлкает. Жена говорила — он у тебя и ночью тикает, с тобой спать, как с будильником. Потом собрала вещи и ушла к тому, у кого в голове тихо.

Сын звонил на Новый год. Позапрошлый.

Вот об этом и думал, пока лез. Не о кровле же.

Десятый встретил как положено: дым до пояса, жар такой, что уши печёт через подшлемник. Дверь сорок третьей настежь — мать выскочила, а дочка за ней не успела. Обычное дело: дети не выбегают. Для ребёнка огонь — не то, от чего бегут. Это то, от чего надо зажмуриться, и оно исчезнет.

Ванная — пусто. Под кроватью — пусто, только кот. Сидит у стены, шипит, глаза как у беса.

— Потерпи, — говорю. — Не до тебя.

Шкаф.

Открыл — сидит. Пижама розовая, в обнимку плюшевый заяц, глаза на пол-лица. Не ревёт. Плохо: значит, дыма уже хлебнула.

— Привет, — сказал я. Голос из-под маски — как из бочки, поэтому медленно и скучно, как в поликлинике. — Я Степан Ильич. Пожарный. Пойдём к маме?

Главное — не хватать. Схватишь — забьётся, заорёт, наглотаётся. Секунда на доверие всегда окупается.

Она кивнула. И протянула руки.

Умница.

Завернул её в покрывало, прижал к себе. Кота — за шкурку и за пазуху. Совсем сдурел на старости лет: кровля на соплях, а он кота спасает.

Секундомер: минута двадцать. Идём вниз.

Не идём. Пролётом ниже гудело уже в полный голос — огонь дополз до лестницы и жрал её с аппетитом. Путь, которым я поднялся, закрылся — как дверь за спиной захлопнули.

— Первый, я Горев. Лестницу отрезало. Выхожу через окно, торец, десятый.

— Лестницу подаём! Горев, кровля!!!

— Да помню я про твою кровлю.

Комната окнами на торец. Раму — ногой, пластик хрустнул, стекло ушло вниз. Воздух рванул в проём, огонь за спиной обрадовался, загудел веселее. Знаю, знаю. Потерпишь.

Внизу разворачивалась автолестница. Красиво работали, черти, быстро. Колено пошло вверх, ещё, ещё.

Медленно. Господи, как же медленно.

За спиной, в коридоре, уже светилось — огонь дошёл до квартиры и примеривался к дверному проёму. Я поставил девочку на подоконник, спиной к комнате. С собой — между ней и коридором. Спина у меня широкая. Двадцать семь лет за ней прятались.

Девочка молчала и смотрела не на огонь. На меня.

— Сейчас, маленькая. Сейчас поедешь вниз, как принцесса.

— Заяц упал.

Заяц лежал посреди комнаты. До него было два шага и вся оставшаяся жизнь.

— Нового купим, — соврал я.

Заяц вспыхнул.

— А вы? — спросила она, когда лестница была уже совсем близко.

— А я следом. Мы, старики, медленно ездим.

Секундомер: две сорок.

Лестница стукнула о стену под окном. Наверху — парень из второго караула, молодой, фамилию не вспомню. Ну и ладно. Пусть живёт долго, с любой фамилией.

Я передал ему свёрток с девочкой. Потом кота — парень аж крикнул.

И тут кровля вздохнула.

Я это спиной услышал. Ещё не грохот, нет. Именно вздох — глубокий, усталый. Так дом прощается. У меня оставалось полсекунды, и я потратил их правильно: упёрся и толкнул лестницу от стены — чтобы их не зацепило.

А потом потолок лёг мне на плечи.

Больно не было. Честно. Было обидно: до пенсии полгода. И сыну так и не позвонил. Всё собирался — после дежурства, после отчёта, после...

Темнота.

А потом стало жарко.

Вот те раз, подумал я. Выходит, не врала бабка: есть, есть ад для таких, как я. А я, дурак, не верил.

Жарко было по-настоящему, по-рабочему, знакомо: сверху трещало, вокруг стоял дым. Только дым был неправильный. Не пластик, не проводка. Сено. Горело сено, много сена, и горело оно щедро, от всей души.

Я открыл глаза. Надо мной сквозь дым просвечивала кровля — жерди да солома, и по соломе весело, вприпрыжку, бежал огонь.

Так. В аду, значит, сеновалы. Логично. И тушить некому — все грешники, всем положено.

Я попробовал вскочить — и не вскочил. Тело послушалось, но как-то не так: рука взлетела легко, как пустая. И была эта рука не моя. Тонкая, белая, пальцы длинные, цыплячьи. У меня руки были как лопаты, я ими в молодости подковы... ну, не гнул, но обещал же.

Секундомер выделил на это полторы секунды. Больше не дал: солома над головой горела вовсю, сарая оставалось минуты две. А всему, что внутри, — и того меньше.

Внутри был я. И ещё кто-то: справа, за сеном, орали. Тонко, отчаянно, по-бабьи.

Тело чужое, руки цыплячьи — а рефлексy, спасибо, мои. Вниз. К полу. У пола воздух. Тряпки мокрой нет — рукав на морду и дышать через раз, не глотать. Пошёл.

Полз я на крик и полз поганю: руки проваливались в сено, колени путались в подоле длинной рубахи. Ни маски, ни боёвки, ни перчаток. Дыма я должен был наглотаться по самые брови — а голова была ясная, как стёклышко. Ни кашля, ни мути. Странно. Потом разберёмся. Если будет потом.

Девка нашлась у дальней стены. Молодая, в сарафане, коса растрёпана. Вжалась в угол и орала в этот угол, будто он ей поможет. Классика. Что семь лет человеку, что семнадцать — огонь выключает голову одинаково.

— ТИХО!

Голос вышел чужой, ломкий, петушинный. Но командирского в нём, видать, хватило: девка заткнулась и вытаращилась на меня.

— Дверь где?!

— Т-там... — и рукой туда, где стояла сплошная стена огня.

Ясно. Двери у нас больше нет.

— Держись за рубаху! Не отпускай, что бы ни было! Понизу, ползком, кому говорю!

Мне нужна была стена. Сарай — не бетон, сарай — это доски, а доска — это дверь в любом месте, где сумеешь её открыть. Я полз вдоль стены, волок девку за собой и щупал ладонью: гнилую давай, гнилую, где ж ты, родимая...

Нашёл. Доска сидела на честном слове и одном гвозде. Я развернулся, лёг на спину и ударил обеими ногами.

В прошлом теле она бы вылетела вместе с соседками. В этом — я чуть сам не уехал обратно в сено, а доска только крикнула. Ах ты ж дохлятина. Ну-ка ещё раз. Ещё!

На третьем ударе доска сдалась. Вторая пошла легче. Третью девка выломала сама — страх, он силы даёт, если его в правильную сторону развернуть.

Я вытолкнул её в дыру, протиснулся следом и покатился по траве.

Трава была настоящая. Зелёная, холодная от росы. Я лежал мордой в этой траве и дышал так, что рёбра трещали. За спиной гулко, с треском, рухнуло то, что ещё держалось, — кровля сложилась внутрь и выплюнула в небо столб искр.

Знакомый звук. Второй раз за день. Это, пожалуй, перебор даже для меня.

Я перевернулся на спину.

Небо было высокое, чистое, без единого следа от самолёта. По небу полз дым. Вокруг орали люди — и вот тут я наконец начал догадываться, что ад выглядит как-то иначе.

Люди были в рубахах до колен и в лаптях. Бабы — в платках, мужики — бородатые, до глаз. Они бежали к сеновалу с вёдрами и баграми, на бегу крестясь. Пахло деревней: навозом, дымом, свежим хлебом откуда-то. За соломенными крышами торчала церквушка с покосившейся маковкой.

Кино снимают, вяло подумал я. Ага. А я тогда каскадёр. Дублёр. Тела.

Рядом бухнулась на колени давешняя девка и, подвывая, принялась не то обнимать меня, не то ощупывать — живой ли:

— Барин!.. Барчук!.. Степан Никитич, батюшка, живой!.. Я уж думала — всё, сгорели мы с тобой...

Степан, значит. Надо же. Хоть имя совпало — уже экономия.

— А ты как доску-то вышиб? — она вдруг отстранилась и посмотрела на меня как-то по-новому, со страхом пополам. — Ты ж хворый лежал. Тебя ж дядюшка твой третьего дня...

И осеклась. И по сторонам зыркнула.

Так. У Степана Никитича, значит, имеется дядюшка. После которого лежат. Запомним.

Я сел. Спина ныла, руки тряслись, в голове было пусто и звонко, как в новом ведре. Вся моя жизнь — часть, караул, сын, который не звонит, — осталась под бетонной плитой, и где теперь эта плита, я даже спрашивать боялся.

Пара баб, глядя на меня, мелко крестилась. Мужик с багром смотрел так, будто я у него на глазах вылез из могилы и попросил закурить. Видать, барчука здесь уже похоронили.

Мужики добежали до сеновала и встали цепочкой к колодцу. Поздно, ребята. Сеновал уже всё. Теперь только соседние крыши мочить, вон ту в первую очередь, на неё искры несёт...

Стоп. Мне-то что за дело. Где я — и где ваши крыши.

И тут над толпой, над вёдрами, над треском догорающих жердей взлетел новый крик — с дальнего конца улицы, бабий, страшный. От него обернулись все разом:

— Лю-у-уди!!! У Кузнецовых занялось! Кузнецовы горят, там дети малые!!!

Я поднялся на ноги. Ноги подломились. Я поднялся ещё раз.

Тело чужое. Век непонятный. Из всего имущества — драная рубаха и девка, которая ревёт в голос.

А за три двора отсюда — горит.

Ну что, Степан, как тебя там, Никитич. Похоже, отдохнуть после смерти нам с тобой не дадут.

Я выдернул ведро у ближайшего разинувшего рот мужика и пошёл на дым.

Глава 2. Чужие руки

Двор Кузнецовых я услышал раньше, чем увидел. Пожар вообще слышно издалека — он ревёт, как печь, если печь размером с дом.

А ещё раньше пожара слышно людей.

Выла баба. Орала мужики. Ржала и билась где-то лошадь. И всё это — на одной ноте, без команд, без смысла. Так орёт толпа, которая не знает, что делать, и потому делает всё сразу.

Я перелез через плетень и увидел картину, от которой у меня заныли зубы.

Изба горела уже вся. Из-под крыши било ровное гудящее пламя — такое не заливают, такое давно перешло ту черту, за которой дом уже не дом, а дрова. А перед избой стояла цепочка мужиков и по одному ведру, с раскачки, плескала воду прямо в огонь.

В самое пекло. Туда, где ведро воды испаряется раньше, чем долетит.

— Ванятку вынесли! Всех вынесли! — голосила простоволосая баба, прижимая к себе двоих ревуших детей. — Сам-то куда, сам-то!..

Сам — это, надо полагать, хозяин. Мужик в исподнем как раз нырял в сени, из которых валило чёрным.

Твою же мать.

— Стоять! — рывкнул я и сам не узнал этот ломкий петушинный голос. Не слушают такой голос. Такому голосу надо помогать телом.

Я догнал хозяина в сенях, где уже нечем было дышать, — он, согнувшись, тянул из угла кованный сундук. Сундук был больше него.

— Брось!

— Добро!.. — прохрипел он. — Всё ж добро тут!..

Над нами затрещало. Я не стал спорить с человеком, у которого горит крыша над головой, — в буквальном смысле спорить некогда. Ухватил его сзади за ворот и дёрнул на себя, всем весом, какой был. Веса было — слёзы, но и мужик уже наглотался: пошёл, повалился, пополз. Выкатились мы вместе, и за спиной, там, где только что был сундук, сени сложились внутрь.

Кузнецов сел на землю и завыл — тонко, по-щенячьи.

Некогда.

Я поднялся, глотнул воздуха и посмотрел на это всё уже по-рабочему. Изба — минус, её нет, забыли про неё. Ветер — вон он, тянет искры через двор, на соломенную крышу соседей. Между дворами — плетни и сухой бурьян, по которому огонь пройдёт, как по фитилю. Колодец — один, журавль скрипит, ведер мало.

Улица. Гореть будет улица, если сейчас не начать работать.

— Слушай меня! — заорал я, влезая на колоду, чтоб видели. — Избу не тушить! Изба всё!

— Ты чего мелешь?! — обернулся ко мне ближний мужик, бородатый, рыжий, с пустым ведром. — А чего тушить?!

— Соседние крыши! Воду — на них! Мочи солому, пока искры не легли!

— Да кто ты таков, чтоб!..

— Фаддей, — сказал я.

Имя выпало у меня изо рта само. Я понятия не имел, откуда его знаю. Просто посмотрел на рыжую бороду — и в голове, как ярлык на ящике, всплыло: Фаддей, колесник, двор третий от колодца.

Мужик поперхнулся.

— Фаддей, — повторил я, пока он не очухался. — Твой двор — четвёртый по ветру. Хочешь ночевать в поле — стой и спорь.

Секунду он смотрел на меня. Потом развернулся к цепочке:

— Мужики-и! Воду — на Прохорову крышу, барчук дело говорит!..

Дальше пошла работа, и работа пошла погано, потому что толпа — не расчёт, а я — не я.

Раньше у меня под рукой было отделение, у отделения — ствол, у ствола — сорок литров в секунду. Сейчас у меня было полтора десятка перепуганных мужиков, один колодец и голос, который к тому же начал садиться.

— Цепь! В одну линию, от колодца! Вёдра из рук в руки, не бегать!.. Баграми — плетень между дворами, валите его к чертям, весь!.. Бурьян — затоптать!.. Ты, ты и ты — на крышу к Прохору, дерюги мочи и по коньку стели!

— Дык лестницы нету!..

— Телегу под стреху! С телеги!

Странное дело: они слушались. Не сразу, со спотыкачкой, с матюгами — но слушались. Голос был чужой, тело было чужое, а вот это вот — «делай раз, делай два» — оно, оказывается, к телу не пришито. Оно глубже.

— Гля, а водолей-то раскомандовался! — крикнул кто-то от колодца, весело и зло.

— Гасильниково отродье!

— У их вся порода такая — огню кланяться!

Я пропустил. Не время. Только отметил себе: «водолей» — это, стало быть, я. И порода моя — огню кланяться. Ладно, запишем.

Искры пошли гуще — огонь доедал стропила и радовался. Одна легла на прохоровскую крышу, в сухой скат, куда дерюга не дотянулась. Затлело.

— Крыша! — заорал я. — Правый скат!

Мальчишка, что таскал дерюги, — лет десяти, босой, глаза шальные — полез по скату, как кошка, шлёпнул мокрым, затоптал. И заорал сверху счастливо:

— Погасла-а!

— Молодец! Сиди там, смотри за скатом!

Вторая искра упала в бурьян у плетня. Я был ближе всех. Добежал, занёс ногу затоптать — и увидел, как крохотный огонёк в сухой траве погас сам. За полвздоха до моего сапога. Просто взял и погас, будто его пальцами сняли.

Я стоял над чёрной травинкой не дольше секунды. Роса, решил я. Трава сырая. И побежал дальше, потому что думать было некогда.

Изба Кузнецовых рухнула через полчаса — осела внутрь себя, выдохнув в небо столб искр, и я загнал всех, кого мог, по крышам и с вёдрами: вот теперь, когда посыпалось, самое опасное. Ещё час мы мочили солому, растаскивали баграми горящие брёвна и таптали бурьян.

К рассвету на месте избы дымилась чёрная куча. Над ней покачивался уцелевший журавль колодца.

Улица стояла. Вся.

Я сполз с телеги, на которой последний час торчал, как на вышке, и только тут почувствовал тело. Чужое тело сообщило мне, что оно всё. Руки тряслись, ноги гудели, в глотке было как в том дымоходе.

Мужики стояли кругом пепелища — молча. Пар шёл от них, как от лошадей. Потом Фаддей стянул шапку, вытер ею морду и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Ить улица бы пошла. Как в запрошлом годе у Митиных.

— Пошла бы, — согласился кто-то.

И все посмотрели на меня. Так смотрят на незнакомую собаку: вроде и хвостом машет, а вроде и порода кусачая.

— Ты, барчук, эта... — Фаддей помял шапку. — Откуда чего знаешь-то? Ты ж вроде как... того. Хворый лежал.

— Отлежался, — сказал я.

Ответ им понравился. Такие ответы всем нравятся: коротко и непонятно.

Кузнецов сидел на обгорелой колоде, смотрел на кучу, которая была его домом, и уже не выл — просто смотрел. Баба его прибилась рядом, дети спали у неё на коленях, прямо на земле, как убитые.

Я подошёл. Сел рядом на корточки.

— Дети живые. Сам живой. Баба живая, — сказал я. — Остальное наживёшь.

— Легко тебе говорить, — глухо отозвался он.

— Легко, — согласился я.

Он повернул голову, посмотрел на меня — красными глазами из чёрного лица. Хотел, видно, огрызнуться. Не огрызнулся.

— За сени... благодарствуй, — выдавил он. — Дурак я. За сундуком полез.

— Все лезут, — сказал я. — Живые — это те, кого успели выдернуть.

Я поднялся и пошёл прочь, и спиной чувствовал, что вся улица смотрит мне вслед.

Есть хотелось так, что темнело в глазах.

Это я понял, когда отпустило. У пожара голода нет, у пожара вообще ничего нет, кроме пожара, — а вот после... После тело предъявило счёт по всем статьям сразу. Оно, между прочим, ещё до сеновала было голодное: по рукам-палкам видно, по рёбрам, которые я мог пересчитать сквозь рубаху.

Кормили меня в доме через два двора от пепелища — втащила меня туда за рукав бабка. Маленькая, сухая, в чёрном платке, с лицом из одних морщин и глазами, которые эти морщины насквозь прожигали.

— Садись, — сказала бабка так, что сесть захотелось ещё в воздухе.

В доме пахло щами. Я чуть не заскулил.

Она поставила передо мной миску — глиняную, со шербиной, — положила ложку и краюху, села напротив и стала смотреть, как я ем.

Ел я страшно. Я это понимал и ничего не мог сделать: рука сама черпала, глотка сама глотала. Полмиски спустя я вспомнил, что люди в таких случаях что-то говорят.

— Спасибо... — я запнулся. Как её звать? На этот раз память тела молчала.

— Матрёной с рождения кличут, — сказала бабка. — Ешь. На тебя глядеть тошно, одни мослы. У Прохора, у ирода твоего, на дворе кобель глаже.

Ложка у меня остановилась сама.

— У Прохора?

— А у кого ж. — Матрёна подпёрла щёку. — Дядюшка твой, чтоб ему икалось. Родная кровь, называется. Барский племянник у него на сеновале валяется, как телок брошенный, а он в городе, в церкву ходит, свечи ставит. Отмолить хочет, видать.

— Что отмолить?

Бабка глянула на меня остро, из-под платка.

— А то ты не знаешь.

— Я, бабушка, после вчерашнего много чего забыл, — сказал я чистую правду. — Ты уж напомни.

Она пожевала губами. Потом махнула рукой — а, мол, чего уж.

— Забыл он... Оно, может, и к лучшему, что забыл. — Она подлила мне шей, не спрашивая. — Род ваш здешний, горевский, испокон тут сидел. Не богато сидели, а крепко. Покуда батюшка твой, царствие ему небесное, не сгорел. Семь годов тому. С тех пор всё дядюшка твой правит. Доправился: землю — в заклад, дворню — распустил, тебя — в чёрное тело. Одна Глашка при усадьбе осталась, скотину доглядать, да и ту он к Покрову рассчитать грозился.

Глашка. Та самая, из сеновала. Хоть буду знать, кого вчера вытаскивал.

— А сгорел отец... как?

— А так и сгорел, как все Горевы горят, — отрезала Матрёна, и по тому, как отрезала, я понял: тут дно, и щупом туда лучше не лезть. Пока.

Она помолчала. Потом добавила, тише:

— Ты вот что, Степан Никитич. Ты давеча на пожаре хорошо стоял. По-хозяйски. Народ это видал. — Она подняла на меня свои прожигающие глаза. — Только ты запомни: у нас которые Горевы хорошо у огня стоят — те долго не живут.

В доме стало тихо. Только сверчок пилил за печью.

— Это как понимать, бабушка?

— А как хочешь, так и понимай, — сказала Матрёна и встала убирать миску. Разговор кончился, как дверью хлопнули.

За окном уже темнело. Она собрала мне узелок — хлеб, луковицу, соли в тряпице — и на пороге, отвернувшись, буркнула:

— Завтра приходи. Щи ещё будут.

Богатство моё на сегодняшний день: одна миска шей внутри, один узелок в руке, одна улица, которая не сгорела. И одно тело, в котором я, кажется, застрял насовсем.

Бывало хуже. Вспомнить бы только когда.

До усадьбы я не дошёл — свернул к пепелищу.

Привычка. Пожарище нельзя бросать в первую ночь: под золой живут угли, и живут они долго. Дунет ветер, раскопает собака, и всё начнётся по новой, только теперь без меня, сонное и страшное.

У чёрной кучи караулил Кузнецов — сам догадался или сидел просто потому, что некуда идти. Рядом стояло ведро.

— Заливай по краям, — сказал я. — Где парит — туда лей. И переворачивай головни, под ними жар держится.

Он кивнул и стал делать. Понятливый. Дом ему теперь миром ставить будут, всей улицей, — так тут заведено, это я уже знал от Матрёны. Изба — дело наживное. Улица — нет.

Я обошёл пепелище кругом, по-хозяйски, высматривая парящие места.

И у самого края, там, где вчера были сени, увидел перо.

Петушиное перо. Оно лежало на золе — поверх золы, — чёрное, обугленное по краю. Я поднял его двумя пальцами.

Перо было целое. Не рассыпалось, не смялось. Обгоревшее — и целое, будто его обжигали нарочно, бережно, как горшок в печи.

И оно было холодное. Холоднее вечернего воздуха, холоднее моих пальцев. От него тянуло стужей, как от железа на морозе.

Я стоял посреди тёплого ещё пепелища, держал эту ледяную дрянь и слушал, как у меня между лопаток медленно поднимаются волосы.

Вчера, у сеновала, было точно такое же. Я его ещё принял за мусор.

Два пожара за два дня. И два пера.

— Барин, — окликнул от кучи Кузнецов, — а чегой-то у вас?

— Мусор, — сказал я и сунул перо за пазуху. — Заливай давай.

А вечером, уже в усадьбе, при огарке свечи, я сидел над этим пером и вертел его так и сяк. И доигрался: потянулся к свече, чтоб разглядеть очин, — и свеча погасла.

Сама. За миг до того, как я к ней наклонился. Я ещё и дунуть не успел — а фитиль уже стоял мёртвый, и дым от него уходил вверх ровной струйкой.

В темноте было слышно, как в дальнем углу скребётся мышь.

— Так, — сказал я вслух, потому что молчать было хуже. — Либо я схожу с ума. Либо в этом теле водится что-то ещё, кроме меня.

Мышь перестала скрестись.

Ответа я так и не дождался — ни от неё, ни от темноты. Только перо лежало на столе, чуть светлее мрака, и холодило воздух, как открытая прорубь.

Глава 3. Закладная

Дядю я увидел раньше, чем он меня. И это было к лучшему: у меня оказалось целых десять секунд, чтобы решить, как я с ним поздороваюсь.

По дороге от села к усадьбе пылила бричка. В бричке сидело трое: толстый мужик в добром кафтане, тощий человечек с кожаной сумкой на коленях и возница. Толстого я узнал сразу — не памятью тела, а по морде. Такие морды одинаковы в любом веке: круглая, гладкая, с маленькими глазками, которые всё время что-то подсчитывают.

Прохор Савельич Горев. Родной дядя. Опекун.

Тот самый, после которого я «хворый лежал». На рёбрах у этого тела до сих пор цвели жёлто-лиловые разводы — я их утром разглядывал, как карту чужой войны.

Я стоял посреди двора с топором — с утра прибывал оторванную доску на крыльце, потому что не могу смотреть на висящую доску, это сильнее меня. Топор я, подумав, воткнул в колоду. От греха.

Бричка вкатилась во двор. Дядя слез — бричка облегчённо скрипнула — и уставился на меня.

Он ждал, надо полагать, увидеть лежачего. Тихого, битого, смотрящего в пол. А увидел, как я стою посреди двора, руки на груди, и смотрю на него сверху вниз — я его на полголовы выше, оказывается.

— Ты гля, — сказал дядя. — Оклемался.

— Здравствуйте, дядюшка, — сказал я ровно.

Что-то в моём голосе ему не понравилось. Он пожевал губами, оглядел двор — свежеприбитую доску, выметенное крыльцо, починенный прясел — и нашёл, к чему прицепиться:

— Топор чей брал? Усадьба под описью, имущество трогать не велено!

— Под какой описью?

Дядя расцвёл. Он, оказывается, только этого вопроса и ждал — как ждут гости, когда наконец спросят про новую шубу.

— А вот под этой самой, — сказал он и щёлкнул пальцами.

Тощий человечек с сумкой ссыпался с брички, засеменил к нам, на ходу вытягивая бумагу. Подьячий, понял я. Бумага была с печатью — сургуч я разглядел издали, его специально держали так, чтоб я разглядел.

— Извольте видеть, — заговорил подьячий скороговоркой, глядя при этом не на меня, а на дядю, — закладная крепость на сельцо Горевку с усадьбою, землёю и всеми угодья. Заложено господину Дырину Сысою Пантелеичу в трёхстах рублях. Срок выкупу — на Покров сего года. А не будет выкупу — отойдёт сельцо со всеми строеньи заимодавцу безповоротно.

Он говорил, а я считал. Сорок дней до Покрова — это я уже знал от Матрёны, у неё в сених висел листок с постами и праздниками, и я вчера долго на него смотрел. Триста рублей. Много это или мало, я пока не понимал, но по тому, как подьячий выговорил «в трёхстах рублях» — с придыханием, как «в трёх пудах золота», — выходило, что много.

— Заложили — вы, — сказал я дяде. — А выкупать кому?

— А это уж, Стёпушка, кому Бог на душу положит, — дядя развёл руками, и его маленькие глазки заблестели. — Я, милый, семь годов твоё разорённое хозяйство на себе тяну. Поиздержался весь. Так что не обессудь: либо ищи триста рублей, либо на Покров пойдёт Горевка с молотка. А ты уж, так и быть, ко мне переберёшься. В людскую. Мне работник надобен, а ты, гляжу, здоровый стал, доску вон прибил...

За моей спиной тихо ахнула Глашка — она стояла на крыльце с ведром и всё слышала.

Вот теперь я понял, зачем он приехал сам, да ещё с подьячим, да ещё понятых прихватил — двое мужиков маялись у брички, глядя в землю. Ему нужно было не описать усадьбу. Ему

нужно было, чтобы я это выслушал. При свидетелях. Стоя посреди двора, который через сорок дней перестанет быть моим.

Наследство размотал, племянника — в дворню. Красиво. И главное — по закону.

Я, между прочим, в прошлой жизни такие лица видел. Приходит такой к погорельцам — сочувствует, ахает, а глазки уже прикидывают, почём теперь участок. У нас их называли нехорошим словом. Здесь, наверное, называют «благодетель».

— Опись делайте, — сказал я подьячему. — Только по правде делайте. Что найдёте — то и пишите.

Подьячий с готовностью юркнул в дом. Дядя пошёл следом — важно, по-хозяйски, стуча сапогами.

Опись много времени не заняла, потому что описывать было нечего.

Я шёл за ними по собственному дому и слушал, как подьячий бубнит: «горница пустая... лавки две, ветхие... стол один... печь с трещиной...» Дом был выеден изнутри, как яблоко червём. Где на стенах когда-то что-то висело — остались тёмные пятна. Где стояли сундуки — вытертые квадраты на половицах. Всё вынесено, продано, пропито дядиными молитвами.

— А это чего? Пиши: зала, — командовал дядя. — Пустая.

Он толкнул дверь в залу — и я увидел любопытную вещь.

В залу дядя не вошёл.

Там, в дальнем конце, стоял очаг — не печь, а именно очаг, старинный, из дикого камня, и в его подножии лежал чёрный валун в полстола размером. Дядя встал на пороге, буркнул подьячему «пиши — зала, очаг ветхий» — и отступил. Быстро. Как от края.

Подьячий сунулся было внутрь с пером — дядя ухватил его за плечо:

— Чего там писать. Камень и камень. Идём, во флигеле ещё глянем.

Я задержался на пороге. Чёрный камень лежал в темноте и как будто ждал. Со вчерашнего вечера — после свечи, после пера — я к таким вещам стал внимательный.

Ай да дядюшка. Всё в доме вынес, а сюда — не ногой. Что ж ты знаешь про этот камень, чего я не знаю?

Во дворе дядя устроил финал представления. Встал у брички, поддёрнул кушак и объявил — громко, для понятых:

— Стало быть, так, Степан Никитич. Сорок дней тебе сроку. А чтоб тебе искалось веселее, — он не удержался, хохотнул, — вот тебе для начала.

И бросил мне под ноги монету. Медную. Она упала в пыль и легла орлом.

Понятые смотрели в землю. Подьячий — в небо. Глашка на крыльце — на меня, и в глазах у неё стояли слёзы.

Я поднял монету. Отряхнул. Разглядел — денга, полкопейки, я уже разобрался в местных деньгах ровно настолько.

— Благодарствую, дядюшка, — сказал я и спрятал её за пазуху. — Первый вклад в выкуп. Запишу за вами.

Дядя моргнул. Он ждал чего угодно — что я швырну монету ему в морду, что заплачу, что в ноги брошусь. А я её взял и записал за ним. По его глазкам было видно, как он пытается понять, где его сейчас обманули.

— Ты... это... — Он влез в бричку, бричка присела. — Дерзкий стал. Гляди, Стёпка. Хворь — она возвращается.

Вот так. При понятых. Даже не прячется.

— Не вернётся, — сказал я. — Я теперь здоровье берегу. И своё, и чужое.

Дядя открыл рот. Закрыл. Ткнул возницу в спину, и бричка укатила, подпрыгивая на колдобинах, которые дядя семь лет не чинил.

— Барин, — сказала Глашка тихо, когда пыль осела, — а ведь он вас со свету сживёт.

— Подавится, — сказал я.

Получилось увереннее, чем было на самом деле. На самом деле расклад выглядел так.

У меня было: усадьба, заложенная за триста рублей. Сорок дней. Тело девятнадцати лет, тощее, битое, зато с хорошей памятью на чужие имена. Скотница Глашка, корова, десяток кур. Топор. Денга — полкопейки.

Против меня было: опекун, который по здешним законам распоряжался и мной, и остатками имущества. Некий Дырин, державший закладную. И слова Матрёны, от которых холодело похуже пера: «которые Горевы хорошо у огня стоят — те долго не живут».

Триста рублей. Я вечером спросил у Глашки, что почём. Корова — три рубля. Изба — рублей десять, если с руками ставить. Мужик за лето на отхожем промысле приносил рубля четыре и считался добытчиком.

То есть мне за сорок дней нужно было добыть семьдесят пять коров. Или тридцать изб. Здоровым, взрослым, привычным к этому миру человеком — задача на грани смешного. Тощим барчуком, у которого из ремесла только «умею тушить пожары»...

Стоп.

Я сидел на крыльце, смотрел, как садится солнце за чёрную крышу сеновала, и мысль поворачивалась во мне медленно, как жёрнов.

Умею тушить пожары. В стране, которая горит.

Матрёна вчера, между щами, выдала мне полную сводку, сама того не заметив: в запрошлом годе выгорела улица у Митиных. В позапрошлом — полсела Гремячего. Крапивна, уездный город, горела дважды за пять лет, последний раз — с торговыми рядами, и купцы, по её словам, «по сю пору кряхтят». Каждый год, каждое лето, как по расписанию. Здесь никто не тушит — здесь горят. Отгорело — отстроились — ждут следующего.

Я двадцать семь лет занимался ремеслом, которого в этом мире просто нет.

А там, где ремесла нет, а беда есть, — там за ремесло платят.

— Глаш, — позвал я. — А кто в городе главный над пожарным делом?

— Над чем? — не поняла она.

— Ну, когда горит — кто командует?

Она посмотрела на меня, как на убогого. С жалостью.

— Дак... никто, барин. Когда горит — бегают. Ну, ежели воевода прикажет, дак с баграми повинность выходит, кому назначено. Только они покуда соберутся — уж и головни остыли. — Она помолчала и добавила: — А из наших-то, из горевских, завсегда над огнём старшие были. Покойный барин, батюшка ваш, бывалоча, один на пожар выйдет — и всё, и утихло. Его за то в городе... — она осеклась.

— Что — за то?

— Боялись его за то, — тихо сказала Глашка и ушла доить корову.

Так. Второй раз за два дня разговор упирается в отца — и второй раз собеседник от меня сбегает. Отец, который «сгорел, как все Горевы горят». Очаг, к которому дядя не подходит. Перо, от которого тянет стужей.

В этом мире у меня было на одну загадку больше, чем денег.

Я вытащил из-за пазухи дядину денгу, подбросил, поймал. Полкопейки. До трёхсот рублей оставалось каких-то пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять таких монеток.

— Начало положено, — сказал я вслух.

Смешно не стало. Зато стало ясно, с чего начинать: с города. Деньги, люди, пожары — всё там. Здесь, в Горевке, можно было только тихо досидеть до Покрова и переехать к дяде в людскую.

В людскую я не хотел. Я в прошлой жизни начинал бойцом в карауле, где у меня из имущества были койка и табурет, и ничего, дослужился. Правило простое: делай, что умеешь, там, где за это платят.

Завтра — в Крапивну.

Ночью мне не спалось.

Лежал на лавке, слушал дом. Дом скрипел, оседал, жил своей стариковской жизнью. Где-то за стеной возилась Глашка. Корова вздыхала во дворе, как большой честный человек.

Я думал про девочку с зайцем. Успели её увезти? Довезли? Об этом думать было нельзя — оттуда, где я теперь, не узнаешь, — и потому думалось особенно упорно.

Потом я думал про сына. Ему сейчас... а никак. Его сейчас нет. Он будет через двести пятьдесят лет. С этой мыслью я ещё не разобрался — она была слишком большая, я её обходил, как обходят воронку.

А потом в дверь заколотили.

Не постучали — заколотили, кулаком, часто. Я слетел с лавки раньше, чем проснулся, — рефлекс: так стучат, когда горит.

На пороге стояла Глашка в накинута платке, а за ней — запыхавшийся мальчишка, тот самый, с кузнецовской крыши.

— Барин! — выпалил он, тараща шальные глаза. — Тама... в городе-то... барабанят!

— Что барабанят? Пожар?

— Не-е! — Он замотал головой так, что чуть её не потерял. — Переписчик приехал! Из губернии! Заутре на площади всех одарённых переписывать станут, у кого Дар есть! Барабанщик по слободам ходит, кричит: всем являться, кто с Даром, а кто не явится — тому батоги!

Он выдохнул и добавил — гордо, как главную новость:

— А дядюшка ваш в городе на постоялом сидит, вино пьёт и всем говорит: барчука-де нашего тоже перепишут. В самый конец списка. Потому как Дар у него — тьфу, бабий. Свечки гасить.

Глашка охнула и замахнулась на мальчишку платком. Тот увернулся привычно, как воробей.

Свечки гасить.

Я стоял босиком на холодных досках, и у меня в голове со щелчком сошлись: свеча, погасшая до дуновения. Искра в бурьяне, умершая под моим сапогом. Перо, холодное, как прорубь.

Дар. У этого тела есть Дар. И завтра его будут мерить — прилюдно, по-казённому, с записью в лист.

— Во сколько на площади? — спросил я.

— Как обедню отзвонят!

— Буду, — сказал я.

Мальчишка просиял, будто это он всё устроил, и растворился в темноте. Глашка смотрела на меня со страхом:

— Барин, да куда ж вы... Там же смеяться будут. Над батюшкой вашим смеялись, и над вами...

— Пусть смеются, — сказал я. — Смех — это ничего. Смех — это они пока не боятся.

Я вернулся на лавку, лёг и — удивительное дело — уснул сразу, как в яму упал.

Последней мыслью было: ноль рублей с половиной копейки. Ноль людей. Сорок дней.

И один Дар — какой ни есть, а мой.

Глава 4. Четыре тысячи сто семнадцатый

Доска сгорела за четыре удара сердца.

Целая дубовая доска — в два пальца толщиной, солдат нарочно показывал её толпе с помоста. Поручик в зелёном мундире даже не встал с лавки. Повёл рукой, лениво, как муху отгонял, — и доска полыхнула вся разом, от торца до торца, белым гудящим огнём. Солдат едва успел отскочить. Через четыре удара сердца на помост осыпалась горсть седого пепла.

Площадь ахнула. Бабы закрестились. Мальчишки на заборе завизжали от восторга.

— Огневой Дар, — объявил чиновник за столом, не поднимая головы от бумаг. — Род Костровых, тульской ветви. Ранг — Костёр. Место в росписи... — писарь зашуршал листами, — тысяча двести восьмое.

Поручик зевнул, расписался и пошёл с помоста — сквозь толпу, которая раздавалась перед ним, как вода перед лодкой. На меня, стоявшего в очереди у ступеней, он глянул мельком, как на пустое место. Впрочем, почему «как». Пустым местом я в этой очереди и был.

Я стоял и мотал на ус.

Помост посреди площади. За столом — чиновник из губернии, при нём писарь, при них четверо солдат. На столе — толстенная книга в коже, и в эту книгу пишут людей. Не подушно, как крестьян. По Дару.

Огневая роспись, так это здесь называлось. Список всех одарённых империи, от первого до последнего. Раз в три года его правят, и горе тому, кто не явился: одарённый вне росписи — всё равно что беглый.

Очередь была короткая. Крапивна — не Тула: за всё утро на помост поднялось человек шесть.

Толстый мельник, потея, выдавил из воздуха воды на полкружки. Толпа хихикала, мельник багровел. «Ливневый Дар, слабый. Ранг — Роса. Место три тысячи восемьсот девяносто первое». Мельник слез с помоста мокрый, как его же Дар, и я его понимал: смешно народу, а между прочим, человек воду из ничего берёт. В сухой год его Роса, может, полполя спасёт.

Купеческий сынок покрутил над ладонью крохотный вихорёк — подняло пыль и сорвало у бабы платок. «Ветровой. Ранг — Сквозняк». Толпа уже откровенно веселилась: даровитые кончились, пошла мелочь.

— Горев! — выкрикнул писарь. — Степан, Никитин сын! Есть таковой?

И вот тут площадь развеселилась по-настоящему.

Это трудно описать — как звучат три сотни человек, которые все разом сообразили, что сейчас будет потеха. Гул, смешки, чей-то свист. Пока я шёл к помосту, я успел выслушать всё: и «водолей», и «гасильник идёт, робята, прячь лучину», и — с дальнего края, поганенько так: «энтот, у которого папаша сгорел? Знать, худо гасил!»

Смех — это ничего, напомнил я себе. Смех — это они пока не боятся.

Помост. Стол. Чиновник поднял на меня глаза — усталые, казённые, — сверился с бумагой:

— Род Горевых. Дар... — он поморщился, будто в бумаге было написано неприличное, — гасильный. Подтверждаешь ли Дар, или отрекаешься?

— А что бывает, если отрекаюсь?

Чиновник впервые посмотрел на меня как на живого:

— Род из росписи выбывает. Насовсем. Потомству Дара не записывают, хоть бы и появился. — Он побарабанил пальцами. — Многие нынче отрекаются. Которые с... незавидными Дарами. Подушное платить меньше.

Толпа внизу притихла — слушала. И в этой тишине я услышал, как у ступеней кто-то мягко, со значением, кашлянул. Я скосил глаз: у помоста стоял человек, которого я раньше не

видел, — гладкий, в хорошем суконном кафтане, с лицом ласковым, как масло. Он смотрел на меня и улыбался, и одними губами, почти беззвучно, подсказывал:

«От-ре-кись».

Интересно. Я этого дядю не знаю, а он меня, выходит, знает.

— Подтверждаю, — сказал я громко.

Толпа выдохнула с предвкушением. Чиновник пожал плечами — твоё, мол, дело — и кивнул солдату:

— Испытание.

Поручику Кострову давали дубовую доску. Мельнику — пустую кружку. Мне солдат вынес... лучину. Обыкновенную лучину в светце, зажёт от кресала и поставил на край стола. Огонёк был с ноготь. Он трепыхался на ветру и, честно говоря, имел все шансы погаснуть сам, без всякого Дара.

— Гаси, — казённо сказал чиновник.

Площадь замерла. Триста человек, затаив дыхание, смотрели, как здоровый лоб девятнадцати лет будет тушить лучину.

Знаете, что самое поганое? Я понятия не имел, как это делается.

Свеча тогда погасла сама. Искра в бурьяне — сама. Я не гасил — оно гасло рядом со мной, как будто у него спрашивали разрешения, а оно не всем отвечает. И вот сейчас я стоял перед этим огоньком с ноготь, а за спиной дышала площадь, и где-то там, в задних рядах, наверняка сиял дядя Прохор.

Я посмотрел на огонёк.

Огонёк посмотрел на меня. Не в переносном смысле — я вдруг почувствовал его. Как чувствуешь взгляд затылком. Маленькое, жадное, тёплое — оно ело лучину и хотело есть дальше, и это его хотение я ощущал, как чужой голод.

Есть хочешь, подумал я. Знаю. Все вы есть хотите. Двадцать семь лет на вас, прожорливых, смотрю.

Хватит.

Я не сказал этого. Не шевельнул рукой. Просто подумал — так, как думал всегда на пожаре, глядя на огонь поверх ствола: хватит.

Огонёк погас.

Не мигнул, не съёжился — погас, будто его выключили. Уголёк на конце лучины остыл на глазах, из красного став чёрным. Тонкая струйка дыма поднялась и растаяла.

Секунду было тихо.

А потом площадь грохнула.

Хохотали все. Бабы — в платки, мужики — в голос, мальчишки на заборе просто выли. Смеялся писарь, прикрывшись листом. Смеялся солдат. Чиновник не смеялся — ему было скучно, он в этом году отсидел уже, наверное, двадцать таких площадей.

— Дар подтверждён, — казённо сказал он сквозь хохот. — Гасильный, слабый. Ранг — Искра. Пиши: род Горовых, Степан Никитин сын, место... — писарь повёл пальцем по самому концу последнего листа, — четыре тысячи сто семнадцатое.

Он глянул в книгу и добавил, без всякого злорадства, просто для порядку:

— Из четырёх тысяч ста двадцати.

— А ниже меня кто? — спросил я.

Чиновник моргнул. Вопросов ему тут, видимо, не задавали.

— Ниже... — Писарь зашуршал листами, нашёл: — Трое, ваша милость. Все трое померли, из росписи не выправлены.

— Стало быть, из живых я последний.

— Стало быть, так.

— Хорошо, — сказал я. — Запоминается.

Чиновник посмотрел на меня долгим взглядом, и что-то в его усталых глазах шевельнулось — не сочувствие даже, а так, тень любопытства. Он пододвинул мне книгу:

— Руку приложи.

Я расписался — коряво, чужой рукой, — и пока расписывался, увидел свою строку целиком. «Горевъ Степанъ Никитинъ. Даръ гасильный. Искра. 4117».

Ну, здравствуй, цифра. Будем с тобой работать.

С помоста я сходил под улюлюканье. Это было похоже на строевой смотр наоборот: обычно оркестр играет марш, а тут триста человек исполняли «водолея». Я шёл сквозь это и держал спину. Спина — единственное, что у меня сегодня было своего.

— А барчук-то у Кузнецовых улицу отстоял! — звонко заорали вдруг с забора.

Санька. Тот самый мальчишка с крыши — стоял на заборе во весь рост, набычившись на толпу:

— Чего ржёте?! Изба горела — кто из вас полез? А он полез! И Фаддей говорит: кабы не барчук — вся улица бы!..

— Цыц, малой! — шикнули на него.

Но смех, между прочим, просел. На полтона. Кто-то оглянулся на меня уже без ухмылки — с тем самым выражением, с каким Фаддей мял тогда шапку. Слух-то, выходит, дошёл. Слухи здесь вообще ходили быстрее почты.

Мельник — тот, с Росой, — поравнялся со мной у края площади. Пошёл рядом, сопя. Потом сказал, не глядя:

— Ты, барин, того... не бери в голову. Они и надо мной двадцать лет ржут. А как сушь — так «Микитушка, родненький, дожжичка бы». — Он хмыкнул. — Дар маленьким не бывает. Бывает не к месту приставленный.

И подал руку. Ладонь у него была мокрая — не от волнения, а по природе Дара, — и это было самое честное рукопожатие за обе мои жизни.

— Степан, — сказал я.

— Микита. Мельница за бродом, коли что.

Запишем: Микита, мельница за бродом. Людей с Даром воды я в своём деле очень даже понимаю, к какому месту приставить.

Дар маленьким не бывает. Надо же. Мужик с мокрой ладонью сформулировал за десять секунд то, до чего я в прошлой жизни доходил лет двадцать.

Ласковый человек догнал меня на выходе с площади. Возник рядом — мягко, без шагов, как из-под земли.

— Степан Никитич! А я уж боялся, не поспею. — Голос у него был под стать лицу: тёплый, круглый, обволакивающий. — Дырин. Сысой Пантелеич. Не признали?

Дырин. Тот самый, у которого моя закладная.

— Наслышан, — сказал я.

— И я наслышан, и я! — обрадовался он. — Про Кузнецовых-то. Экое геройство, экое сердце! — Он покачал головой, налитой сочувствием, как яблоко соком. — А с росписью — не огорчайтесь. Ну её, роспись. Я вам, Степан Никитич, вот что скажу, по-отечески...

Он взял меня под локоть — я позволил, любопытно же, — и повёл вдоль рядов, понизив голос:

— Отреклись бы вы, а? Не поздно ведь: пока переписчик в уезде, всё можно переиграть. Род ваш и так... не в силе. А отречётесь — глядишь, и с закладной у нас с вами по-божески сладится. Отсрочечка. А то и вовсе... — Он пошевелил пальцами, как будто пересчитывал невидимые деньги. — Зачем вам этот Дар, сами посудите? Свечки гасить? Одно беспокойство от него. Вон, батюшка ваш с этим Даром...

— Что — батюшка?

Я спросил спокойно. Но что-то, видать, было у меня в голосе, потому что Дырин на полсекунды сбился. На полсекунды — а я заметил. И он заметил, что я заметил.

— ...сгорел, — закончил он скорбно. — Царствие небесное. Я к тому, что судьба у Дара вашего несчастливая. Избавиться бы.

Мы остановились у торговых рядов. Половина рядов, кстати, стояла новая, из свежего теса, — а половина чернела старым пожарищем, которое так и не разобрали. Я кивнул на обгорелые столбы:

— Давно горело?

— Третий год как, — вздохнул Дырин. — Пол-ряда выгорело. Убытку — на тыщи.

— А тушил кто?

— Дак... — он развёл руками, — миром тушили. Как водится.

— Плохо тушили, — сказал я. — Вон там занялось, — я показал на дальний угол, где обугленные венцы были глубже всего проедены, — а отсекать надо было здесь, по проулку. Сгорело бы две лавки, а не пятнадцать.

Дырин посмотрел на проулок. На меня. Снова на проулок. И глазки его — маленькие, утопленные в ласковом лице — на мгновение стали внимательными, как у счетовода.

— Занятно рассуждаете, — протянул он. — Это вас где ж таким наукам?..

— Хворал долго, — сказал я. — Много думал.

Я снял его руку со своего локтя — аккуратно, как снимают гусеницу, — и договорил:

— За заботу спасибо, Сысой Пантелеич. Только Дар я не продам. И Горевку выкуплю. Триста рублей к Покрову — так в бумаге?

— Так, — сказал Дырин.

Из голоса его на секунду пропало масло. Всё пропало: и ласка, и «по-отечески». Остался счетовод.

— К Покрову, Степан Никитич, — повторил он тихо. — Сорок ден. А деньги — они, знаете, в наших краях медленные. Быстрые тут только пожары.

Поклонился и пошёл прочь — гладкий, круглый, неторопливый. Толпа перед ним раступалась не хуже, чем перед Огневиком.

Быстрые тут только пожары. Я стоял и смотрел ему в спину. Это ведь он мне сейчас не пословицу сказал. Это он мне сказал что-то совсем другое, и оно мне сильно не понравилось.

В Горевку я вернулся в сумерках.

Сводка дня выходила так себе: рублей — ноль с половиной копейки, людей — ноль, зато есть место в росписи, четыре тысячи сто семнадцатое, и весь уезд знает, что барчук тушит лучину. С другой стороны — Микита с мельницей, Санька на заборе и Фаддей, который «кабы не барчук». Не деньги. Но и не ноль.

Глашка спала в людской. Дом стоял тёмный. Я взял огарок, засветил от печного жара — и, сам не зная зачем, пошёл не к своей лавке, а в залу.

Туда, куда дядя не вошёл.

Очаг стоял в темноте, как зверь в стойле, — большой, старый, из дикого камня, с чёрным зевом. Огарок дрожал у меня в руке, и тени от него ходили по стенам. У подножия лежал он — валун. Чёрный, гладкий, в полстола. Не закопчённый чёрный, а чёрный сам по себе, до дна, как вода в колодце ночью.

«Пиши: очаг ветхий». Как же, ветхий. К ветхим камням толстые наглые мужики спиной не пятятся.

Я присел на корточки. Поднёс огарок ближе — пламя свечи вдруг легло набок, потянулось к камню, как трава под ветром. Хотя ветра в зале не было никакого.

— Ну, — сказал я вполголоса, — а ты у нас кто?

И положил ладонь на камень.

Он был тёплый.

Не нагретый — откуда, в нетопленном доме, в холодной зале, — а тёплый изнутри, ровно и глубоко, как бок спящей лошади. Как живой. И под ладонью — я не почувствовал даже, а скорее догадался — что-то медленно, тяжело, спросонья повернулось.

Огарок в моей руке погас.

Сам.

А в темноте, под моей ладонью, камень был тёплым — и тепло это медленно, толчками, прибывало. Как будто то, что спало внутри, семь лет ждало, чтобы его коснулась правильная рука.

И дождалось.

Глава 5. Отцовский сундук

Утром я первым делом пошёл проверять камень.

Тёплый. Такой же тёплый, как ночью, — ладонь пригревало ровно, глубоко, по-хорошему. При дневном свете зала выглядела обыкновенно: пыль, паутина по углам, пустые стены. Только чёрный валун у очага был живее всего дома.

— Глаш, — спросил я за завтраком, то есть за краюхой с молоком, — а что это за камень у нас в зале?

Глашка чуть кринку не выронила.

— Дак... очажный камень, барин. Родовой. — Она понизила голос до шёпота, хотя в доме, кроме нас и мышей, никого не было. — К нему ходить не надо. Покойный барин к нему ходил — и где теперь покойный барин?

— А до покойного барина?

— А до него — дед ваш ходил. И прадед.

— И все, надо думать, померли?

— Все, — с глубоким убеждением подтвердила Глашка.

— Глаш. Прадед мой в каком году родился?

Она захлопала глазами, беззвучно считая. Насчитала лет сто с гаком и надулась:

— Всё одно. Не ходили бы вы, барин, к каменюке этой. От неё в доме сны тяжёлые.

Сны — это ладно. Мне от каменюки было нужно другое: понять, что она такое. Потому что за три дня в этом мире у меня набралось уже целое хозяйство необъяснимого — перо, свеча, лучина, камень, — а объяснений не было ни одного. В моём прежнем ремесле это называлось «работать в непроверенном здании». В непроверенном здании, если кто не знает, погибают.

Значит, будем проверять. С чего начинается разведка? С документов.

— Глаш. А бумаги отцовские где? Книги, письма — было же что-то?

— Дядюшка ваш всё повывез, — вздохнула она. — Первым же годом. Вozами вёз... — И вдруг осеклась. Почесала нос. — Окромья подпола, стало быть. В подпол-то он не лазил.

— Почему?

— А там барин покойный не велел. Никому, окромья себя. Там у него соль хранилась, ну и... — Глашка замаялась. — Заперто там, барин. И ключа нету.

Заперто и ключа нету. В доме, где я собираюсь прожить ещё тридцать восемь дней, если очень повезёт.

— Топор у нас есть, — сказал я.

Топор не понадобился.

Крышка подпола — тяжёлая, дубовая, с врезным замком — открылась от простого нажатия. Замок был сломан. Давно: в скважине сидела ржавчина, а на дереве вокруг — старые, затёртые следы, будто ковыряли ломиком.

Не велел, значит, никому. А кто-то не послушался.

Я спустился по лесенке с огарком в зубах. Подпол был глубокий, сухой, холодный. Вдоль стен — лари с окаменевшей солью, пустые кадки, рогожи. Пахло землёй и мышами.

Сундук стоял в дальнем углу, под рогожей, — и его я нашёл не сразу, а найдя, минуту просто смотрел.

Потому что сундук был вскрыт. Кованая обивка у замка — отогнута, замочная петля вывернута с мясом. И — это было самое интересное — крышка потом аккуратно прикрыта, рогожа наброшена ровно, уголки подоткнуты. Взломщик прибрал за собой. Взломщики так не делают. Так делают люди, которым важно, чтобы никто не узнал о взломе.

Я снял рогожу, поднял крышку и посветил.

Пусто было в сундуке. Почти. На дне лежали: связка сальных свечей, перевязанная бечёвкой. Медный жетон на потемневшем шнурке. Детская рубашонка, сложенная вчетверо, — маленькая, на годовалого. И тетрадь в кожаном переплёте, толстая, разбухшая от закладок.

Всё остальное — а по вмятинам на дне было видно, что лежало тут много и тяжело, — исчезло.

Я сел прямо на земляной пол и начал с жетона.

Медный кругляш в ладонь, тяжёлый. На одной стороне выбит колодезный журавль. На другой — две буквы: «Н. Г.» Никита Горев. Отец.

Я сжал жетон в кулаке — и меня накрыло.

Это было не воспоминание. Воспоминание — это когда помнишь. А тут меня просто взяли и переставили: зала, огонь в очаге — живой огонь, домашний, — и большая тёплая рука ведёт мою руку, маленькую, к чёрному камню. Я упираюсь. Мне страшно. А голос сверху — низкий, спокойный, с усмешкой в глубине — говорит:

«Не бойся, Стёпка. Он свой. Он нашей крови пьёт только жар. Положь ладошку... во-от. Слышишь? Дышит».

И камень под ладошкой — тёплый. И у очага, в кресле, смеётся женщина со свечой в руке, и лица её не видно, только свет...

Меня выкинуло обратно в подпол. Огарок трещал. По морде у меня текло, и я не сразу понял, что это.

Так. Спокойно, подполковник. Это не твоё. Это его — мальчишки, тела, Стёпки. Тебе просто выдали чужое, потому что своего у мальчишки больше нет.

Не твоё-то не твоё. А ревёшь почему-то ты.

Я вытер морду рукавом и взял тетрадь.

Наверх я поднялся, когда огарок догорел, — и зажёг от печи сразу три отцовские свечи. Гулять так гулять. Сел у стола, разложился и стал читать по-настоящему.

Первую треть тетради я понял с пятой страницы. И с пятой же страницы у меня по хребту пошёл холод — не страшный, а рабочий. Узнавательный.

Это был журнал. Не дневник — журнал наблюдений, какие ведут не поэты, а профессионалы.

«Июня 12. Горело в Гремячем, два двора. Ветер полуденный, сушь. Отчёл от набата до прибытия — час с четвертью. Сгорело всё. Опоздание».

«Июля 3. Крапивна, посад. Горела баня Свешниковых. Пospel. Отнял». — Слово «отнял» было подчёркнуто.

«Июля 28. Аграфенино. Овин. Пospel, отнял. Тяжко: перебрал, лежал два дни. Помни: боле трёх дворов зараз не брать».

Я читал и видел человека. Он засекал время. Он записывал ветер, сушь, направление, откуда занялось. Он считал свои силы и честно писал, где надорвался. «Боле трёх дворов зараз не брать» — это же норматив. Он сам себе выводил нормативы, в одиночку, без академий, на собственной шкуре.

Отец. Никита Горев. Гасильник.

Он не «гасил свечки». Он выходил один против пожаров и — «отнимал». Я перелистывал: отнял, отнял, пospel — отнял, опоздал... За «опоздал» всегда шло число дворов. Он и убытки считал.

Двадцать семь лет я думал, что моё ремесло — из другого мира. А оно, выходит, тут уже было. В одном отдельно взятом человеке.

Дальше почерк менялся. Записи становились короче и злее.

«Сентября 9. Опять перо. Второй раз. Кладено нарочно, поверх золы. Стужёное».

Я перестал дышать. Полез за пазуху, достал своё перо — чёрное, обугленное, холодное. Положил на страницу, рядом со словом «стужёное».

«Октября 2. Смотрел старые пожары за пять годов. Не сходится. Горит не как Бог даст, а как по росписи. Перед каждым — метка. От метки до огня — девять ден. Проверено трижды».

«Октября 30. Ходил по слободам, стирал метки. Смех: он ставит сызнава. Он ходит там же, где я. Я его чую, а угнаться не могу».

Он. Без имени. Просто — он.

Дальше — вырванные листы. Обрывки у корешка, с десяток. Кто-то выдрал середину — той же, надо думать, аккуратной рукой, что вскрыла сундук и подоткнула рогожку.

А на последней странице, которую вырвать то ли забыли, то ли оставили нарочно, стояло три строки. Крупно, с нажимом, так что перо рвало бумагу:

«Петух был здесь. Он приходит трижды.

Первый раз — глядит.

Второй раз — метит».

И всё. Что делает Петух в третий раз, отец дописать не успел. Или не захотел. Или это дописывать было уже некому.

Свечи горели. Мыши притихли. Я сидел над тетрадью, и в голове у меня, как на разборе после пожара, выстраивались факты — в столбик, по порядку.

Первое. Отец не «сгорел по пьяному делу», что бы там ни бубнил уезд. Отец охотился. На кого-то, кто жжёт по расписанию и метит дворы за девять дней.

Второе. Этот кто-то ходит с петушиными перьями. И жив по сей день: моё перо — вон оно, свежее, третьего дня из золы.

Третье. Сундук вскрыли и выпотрошили. Взяли всё, кроме мелочей и тетради, из которой вырвали середину. Значит, кому-то было важно, чтобы написанное там никто не прочёл. А тетрадь целиком не забрали... почему? Забыли? Или оставили — как оставляют перо на пепелище? Глядите, мол, и бойтесь.

И четвёртое, самое поганое. У Кузнецовых — перо. У моего сеновала — перо. Два пожара за два дня, оба — с меткой Петуха. В селе, где семь лет как нет ни одного Горева на ногах, — и вдруг, стоило мне встать...

«Первый раз — глядит».

Я встал, взял свечу и пошёл в залу. К камню.

Сам не знаю зачем. Наверное, затем, зачем в прошлой жизни, наработавшись до звона, шёл в депо, в гараж, где пахло железом и резиной, и просто стоял там. Есть места, где думается.

Камень тёплый. Ладонь на него ложится, как в старую варежку. Где-то в глубине — то ли чудится, то ли нет — медленное, сонное, ровное. Дышит.

— Значит, так, — сказал я вслух.

Голос в пустой зале прозвучал глухо, но твёрдо. И я стал говорить — камню, дому, отцовской тетради, всей этой темноте, которая меня сюда затащила:

— Докладываю обстановку. Денег нет. Людей нет. Тела своего нет — ношу чужое. Есть уезд, который горит каждый год, как по расписанию. Есть сволочь, которая это расписание составляет. Есть закладная на сорок дней. И есть я. Подполковник, двадцать семь лет в карауле, четыре тысячи сто семнадцатый в вашей росписи.

Камень дышал под ладонью. Слушал. Я наклонился ниже:

— Так вот. Я не буду искать, как отсюда вернуться, — некуда мне возвращаться, там кровля легла. Я буду делать то, что умею, здесь. Я построю в этой стране пожарную службу. Настоящую. С караулами, с обозом, с нормативами. От этого уезда — и до столицы, докуда дотянусь. И она будет моей — чтобы никакая сытая морда не могла её ни купить, ни поджечь.

Помолчал и добавил — уже не камню, а тому, кто вёл журнал и подчёркивал слово «отнял»:

— А про Петуха твоего я понял, батя. Он приходит трижды. Считаем: поглядел он на меня уже. Пометил, надо думать, тоже. Стало быть, жду третьего раза.

И пусть приходит. Я в этой жизни новенький, мне терять — полкопейки да тетрадь.

Камень под ладонью толкнулся теплом — коротко, как сердце. Может, показалось. А может, у нас, у Горевых, так принято отвечать «принято».

Сводка на сон грядущий: одна тетрадь. Один жетон. Три свечи. Одна цель — на всю оставшуюся жизнь, сколько её там ни осталось.

Тридцать восемь дней.

Разбудил меня колокол.

Не благовест — я их уже различал. Колокол бил часто, рвано, взхлёб, и между ударами в предрассветной серости плыл над сёлами тонкий бабий крик.

Я был на ногах и в сапогах раньше, чем проснулся. В окне, за чёрными крышами, за речкой, — там, где Крапивна, — стояло зарево.

Город горел.

Глава 6. Соляной амбар

Две версты до города я пробежал так, как это чужое тело, наверное, не бегало никогда. На мосту через речку меня догнал топот — босой, частый. Санька. Куда ж без него.

— Барин!.. — выдохнул он на бегу. — Это ж в городе!.. Это ж не наше!..

— Огню без разницы, чьё, — сказал я. — Не отставай.

Горело на краю посада, у соляных весов. Я понял это ещё с моста — по тому, как зарево сидело низко и ровно: не изба, не двор. Что-то большое, длинное, набитое.

Амбар. Здоровенный соляной амбар — сажень двадцать в длину, — и горел он с дальнего торца, густо, тяжело, воротя в небо чёрные клубы. Вокруг уже колыхалась толпа, и толпа занималась привычным делом: орала и плескала воду туда, где пожарче.

А я, подбегая, смотрел не на амбар.

Я смотрел на то, что стояло за ним.

Шагов за двести, через пустырь, за низким тыном, сидело в земле приземистое строение с одной дверью, обитой железом, — и часовой возле этой двери не тушил, не орал, а стоял столбом и держал ружьё так, будто им можно остановить пожар. Я такие строения узнаю с любого расстояния и в любом веке.

Пороховой погреб. Городской. Двести сажень по прямой — а по прямой, между амбаром и погребом, стояли дровяные сараюшки, заборы и сухой бурьян в пояс.

Огню по такой дорожке идти минут шесть. Ну, восемь, если ветер сжалится.

Ветер сжаливаться не собирался. Он дул от амбара — на сараюшки.

— Эй! — Я поймал за плечо первого попавшегося мужика с ведром. — Погреб! Порох в погребе есть?!

— Дак... а как же!.. Казённый!..

Значит, так. Если рванёт погреб — не станет ни посада, ни толпы, ни, что характерно, меня. Опять. Второй раз за неделю мне этот фокус уже не пережить.

— Санька! — Мальчишка вырос из-под локтя. — Видишь будку у весов? Там будочник с колотушкой. Гони его к воеводской управе: пусть шлют людей с топорами к погребу. Скажешь: барин велел. Совра... скажешь: Горев велел!

Санька умчался. А я полез на весовую площадку — тут она была вместо колоды, — набрал воздуха и заорал так, что сорвал бы голос, если б было что срывать:

— МУЖИКИ-И! ПОРОХ!

Слово «пожар» толпу не берёт — она и так на пожаре. А вот слово «порох» в городе, где все помнят, как выглядит войсковой обоз, работает как ушат ледяной воды. Ближние ко мне обернулись.

— Порох в погребе! Огонь дойдёт по сараям — весь посад к богу полетит! Топоры, багры — ко мне! Сарай между амбаром и погребом — валить! Заборы — валить! Бурьян — топтать! Воду — не в амбар лить, амбару конец, — воду на разрыв, на то, что валим!

Секунда тишины. Толпа — существо медленное, ей надо, чтобы кто-то шевельнулся первым.

Первым шевельнулся знакомый рыжий. Фаддей — какими ветрами в городе, неважно, — вскинул багор над головой:

— Слыхали барина?! У Кузнецовых улицу отстоял — знает, чего орёт! Пошли-и!

Вот тебе и репутация. Три дня ей, репутации, а уже работает.

Дальше было то, что я люблю больше всего на свете и чего до смерти боюсь: разрыв на ветру. Полсотни мужиков рубили, валили и оттаскивали, я бегал вдоль линии и ставил людей, как ставят запятые: тут рубить, тут не трогать, тут стоять с водой и глядеть в оба. Сараюшки

трещали и складывались. Хозяева сараюшек выли и лезли под топоры, их оттаскивали. Обычное дело: человек скорее сгорит со своим сараем, чем даст его сломать.

Огонь дошёл до разрыва минут через семь. Постоял, покидал искры через плешь — там уже ждали с вёдрами и мокрыми дерюгами, — позлился и пошёл догрызать амбар.

Погреб выстоял. Посад выстоял.

И тут со стороны амбара заорали:

— Жива-ая душа! Живая душа внутрих!

У малых ворот амбара — с того торца, куда огонь ещё только подбирался, — плясал сторожевой пёс на цепи и надрывался мужик:

— Сторож тама! Кузьмич тама, нога у его!..

Ворота уже дымились. Изнутри, сквозь треск, доносилось глухое, злое, ритмичное — как будто там ругались. Я подошёл, приложил ладонь к доскам — горячие, но терпимо, — и рванул створку.

Изнутри пахло жаром, дымом и — солью. Станный запах у горящего соляного амбара: едкий, щиплющий. Пол-амбара уже светилось изнутри рыжим. А у самых ворот, на земле, среди рассыпанной соли, сидел старик.

Здоровенный, седой, в накинутах на исподнее армяке. Одна нога у него была вывернута — смотреть больно, — и он полз. Но полз он, добрые люди, не к воротам.

Он полз вглубь амбара. Волоча ногу, матерясь через каждое слово, — туда, к дощатой каморке у стены, до которой огню оставалось всего ничего.

— Куда?! — Я ухватил его под мышки.

— Пусти!.. — Старик рванулся с такой силой, что мы оба чуть не сели. — Трубу спасай, дурак! Я-то старый, а труба новая!.. Труба-а!

— Какая, к чертям, труба?!

— Медная! — рявкнул он мне в лицо, дыша перегаром и дымом. — В каморе! Брызгало моё! Я за неё туркам!.. я за неё кровь!.. Пусти, дьявол, кому говорю, я старый, меня не жалко!..

Стропила над дальним концом уже гудели в полный голос. У меня было секунд тридцать, одна перебитая нога, шесть пудов упрямого деда и какая-то труба в каморке.

— Сидеть! — гаркнул я ему командным, от которого у самого заложило уши, и дед на миг ошалел. Этого мига хватило: я доволол его до ворот и вывалил наружу, в руки мужикам. — Держать его!

А сам обернулся к каморке.

Умный человек сказал бы: сгорит и сгорит, железо не люди. Но я уже понял, что за труба. Медная. Брызгало. В этом мире, где тушат вёдрами и молитвой, у деда в каморке лежало то, чего мне не хватало больше денег.

До каморки было шагов пятнадцать. Десять из них — вдоль стены, которая уже занималась, и поверху, по соломенной обвязке, огонь бежал мне наперерез, к двери каморки. Он успевал раньше.

И я сделал то, что делал у лучины. Посмотрел на этот бегущий по соломе гребешок и подумал — зло, коротко, как командуют: хватит.

Гребешок сдох. Метра полтора огня — как слизнуло. Просто полоса чёрной, курящейся соломы там, где только что бежало рыжее.

В ладонях у меня стало горячо — изнутри, будто я держал кипятком не снаружи, а под кожей. В ушах тонко зазвенело.

Разбираться было некогда. Я нырнул в каморку — тючок, лавка, дедов скарб — и вот она: у стены, под рогожей, медная, в два аршина, с рычагом-кормыслом и кожаным рукавом-хоботом. Ручная заливная труба. Старая, турецкой, что ли, работы, зелёная от окиси — и всё равно красавица.

Тяжёлая, зараза. В прошлом теле я бы её одной рукой. В этом — обнял, как родную, и поволок, спотыкаясь, а над головой уже трещало.

Из ворот меня выдернули за шиворот вместе с трубой — Фаддей выдернул, — и вовремя: за спиной ухнуло, крыша амбара просела в середине и пошла складываться.

— Сдурел, барин?! — Фаддей был белый под сажей. — За железяку — в пекло?!

— Это не железяка, — сказал я, отдышавшись. — Это, Фаддей, первая труба будущей пожарной команды города Крапивны.

— Чего?

— Потом объясню.

Дед сидел на земле, вытянув перебитую ногу, и смотрел, как я волоку его сокровище. По морде его — красной, дублёной, в седой щетине — шли попеременно мука и счастье.

— Живая, — просипел он. — Медная моя... — И перевёл глаза на меня. Глаза были яркие, совершенно трезвые и очень внимательные. — А ты, стало быть, кто ж таков будешь, что за чужой трубой в огонь ходишь?

— Горев. Степан Никитич.

— Горев... — Дед пожевал это слово, как корку. — Гасильник, стало быть. То-то я гляжу — солома-то у стены прежде тебя погасла. — Он ухмыльнулся щербатым ртом, и я понял: этот заметил. Пьяный, битый, с перебитой ногой — а заметил единственный из всех. — Бубнов я. Афанасий Кузьмич. Люди Бубном зовут. Бомбардир в отставке, а ныне, — он покосился на дгорающий амбар, — ныне, выходит, погорелец.

— Нога как?

— А что ей сделается, — сказал Бубен и потерял сознание.

Дальше было много суеты, из которой стоит рассказать про две вещи.

Вещь первая: деньги.

Когда амбар догорел и стало ясно, что посад цел, ко мне подошли трое купцов — степенных, в добрых кафтанах, с лицами людей, у которых лавки стояли аккуратно по ветру. Старший, с окладистой бородой, долго кряхтел, а потом сунул мне в руку узелок:

— Прими, батюшка. Миром собрали. За погреб. Кабы рвануло — все бы по миру...

В узелке было пять рублей серебром. Пять. Рублей. Я держал их на ладони и понимал, что заработал за одну ночь больше, чем мужик на промысле за лето. Ремесло, которого нет, в стране, которая горит.

— Через три дня приходите на пепелище, — сказал я купцам. — Все, у кого лавки да склады. Разговор будет. О том, чтоб больше не гореть.

Купцы переглянулись и закивали. Кивать они умели лучше всего.

Вещь вторая: хозяин амбара.

Он появился под утро — свежий, гладкий, ни сажинки, — прошёл вдоль пепелища, ласково покивал погорельцам, и толпа расступалась перед ним, как тогда, на площади. Дырин. Ну кто бы сомневался. Соляной откуп в уезде держал он — стало быть, и амбар его.

Я ждал горя. Убытку-то — «на тыщи», как он любит говорить.

Дырин не горевал.

Дырин ходил по краю пепелища и смотрел на угли с тихим, глубоким удовлетворением — как хозяйка на удавшийся пирог. Я стоял в стороне, у трубы, возле спящего Бубна, и смотрел на него, и мне становилось всё интереснее. Двадцать сажен амбара. Соляная казна. И — ни одного воза соли не вывозили при мне из огня, и по золе, по тому, как она легла, амбар выгорел легко, просторно, как выгорает пустое.

Пустой он был, амбар. Пу-стой.

А соль-то, между прочим, казённая. И недостача по казённой соли — это, я слышал краем уха ещё на площади, Сибирь.

Была нестача — и нет нестачи. Сгорела.

Дырин почувствовал мой взгляд. Подошёл — мягко, по золе, как по коврику.

— Степан Никитич! Герой ночи! — Голос тёплый, масляный, а глазки уже обежали меня, трубу, Бубна — и что-то посчитали. — Погреб отстоял, людей поберёг... Даже сторожа моего никчёмного вытащил, пьяницу старого. Экое сердце у вас.

— Служба у меня, — сказал я. — Такая. Только пока бесплатная.

— Вот! — Дырин поднял палец, будто я сказал что-то мудрое. — Вот об этом и хочу... по-соседски.

Он взял меня под локоть — опять — и отвёл на два шага, к самым головням.

— Вы человек, вижу, разумный. Сметка у вас редкая: где рубить, где лить... — Он понизил голос до совсем уж бархатного. — А теперь послушайте старика. Город горит каждый год. Горел и гореть будет — так Богом устроено. И на всякий пожар, Степан Никитич, есть люди, которые в убытке... а есть, которые в прибыли. Погорельческая земля дешева. Соль вон, — он вздохнул на пепелище с непередаваемым смирением, — списана подчистую, и никакой ревизор теперь... — Он спохватился, но не сильно. Он и не прятался почти. Он меня прощупывал. — Я к чему. Человеку с вашей сметкой не тушить надо, голубчик. Человеку с вашей сметкой надо знать заранее — где загорится. Понимаете? За-ра-не-е. И мы с вами оба... в прибыли. И закладную вашу — порвём да забудем.

Вот так. На пепелище собственного амбара, над спящим стариком, которого чуть не сжёг заживо, — спокойно, по-соседски, с закладной вместо пряника.

Я ждал в себе бешенства, а пришло другое — холодное, оценочное. Отметить: он не спросил, откуда я знал про разрыв. Он не удивился. Он знал, что амбар сгорит, — потому и соль вывез, потому и сторожа не пожалел, старик-то лишний свидетель...

— Нет, — сказал я.

— Что ж так сразу-то...

— Нет, Сысой Пантелеич. Я буду тушить. А вы, — я посмотрел ему в глаза, — вы поосторожнее с огнём. Он ведь как соль: нестачу не прощает.

Улыбка сползала с его лица медленно, как масло со сковороды. Внизу под ней оказалось что-то серое, гладкое, без выражения. Он достал из кармана часы — настоящие, луковичей, немислимых здесь денег, — щёлкнул крышкой и посмотрел не на стрелки, а на меня.

— Три дня, Степан Никитич, — сказал он тихо. — Через три дня вы согласитесь. Все соглашаются.

Закрыв крышку и пошёл прочь по золе — мягко, не оставляя следов.

Я стоял у трубы. Рядом захрапел и заворочался Бубен. В узелке лежали пять рублей, в ладонях ещё догорал тот странный внутренний кипятик, а на востоке вставало солнце — по всем приметам, на ветреный день.

Пять рублей. Один старик с перебитой ногой. Одна медная труба.

И три дня — на что, я пока не знал. Но узнать предстояло, похоже, точно в срок.

Глава 7. Три дня

День первый начался с того, что передо мной закрылось окошко хлебной лавки.

Только что было открыто — я видел, как в него совали медяки и получали ковриги. Подошёл я, положил свою денгу, сказал «полхлеба» — и ставня хлопнула так, что с неё посыпалась пыль. Из-за ставни сказали:

— Не велено.

— Кем не велено?

Тишина. Только за досками сопели.

У второй лавки история повторилась, только там даже сопеть не стали. У третьей хозяйка — молодая, бойкая — успела шепнуть, прежде чем закрыть:

— Иди, барин, от греха. Сысой Пантелеич по рядам прошёл вчера. Кто тебе продаст — у того наём лабаза кончится. У него ж пол-ряда в закладе...

Вот, значит, как выглядит «три дня» в исполнении Дырина. Не нож из-за угла. Просто город медленно поворачивается к тебе спиной — лавка за лавкой, двор за двором.

Хлеб мне в итоге продал Микита-мельник, за бродом, — отсыпал муки и денгу не взял: «Сочтёмся, когда дождик закажешь». У мельника лабаза в городе не было, и Дырин ему был не указ.

Первый вывод дня: у всякой осады есть дырки. Ищи людей, которым осаждающий не хозяин.

День второй начался со звона стекла.

То есть у Матрёны, конечно, не стекло было — пузырь бычий в окошках, — но горшки с подоконника внутрь полетели знатно. Я прибежал на грохот из сарая, где мы с Бубном возились с трубой: двое молодцов дыринской масти как раз доламывали палкой вторую раму, а третий стоял у ворот, сторожил.

Бубен, надо сказать, добрался до Матрёниного двора накануне — приполз, точнее, на самодельном костыле: Дырин его со сторожей выгнал в тот же день, «за недогляд». Идти старику было некуда. Матрёна поворчала на два дома вперёд и постелила ему в сарае. Так у меня стало двое людей, если считать Глашку, и трое, если считать Бубна, — а Бубна стоило считать: он с утра перебрал моё брызгало по винтику, ругаясь на него нежно, как на внука.

Так вот, стекло. То есть пузырь.

Я успел сделать шага три в сторону погромщиков, прикидывая, что в этом теле драка два на один — затея так себе, — когда из-за угла вышел поп.

Точнее сказать — сначала вышел рост. Потом плечи. Потом уже всё остальное, включая рясу, которая на этих плечах сидела, как чехол на пушке. Я его узнал: этот самый детина третьего дня бил в набат на колокольне у Никольской церкви — я ещё подумал тогда, что звонарь у них работает на совесть, чуть колокол не оторвал.

— Отроки, — сказал поп голосом, которым удобно читать заупокойную. — Пошто вдовицу зорите?

— Иди куда шёл, батька, — сказал тот, что с палкой. И это была последняя связная фраза в его выступлении.

Дальнейшее заняло секунд восемь. Поп взял погромщика за грудки и приложил о ворота — вдумчиво, как печать ставят. Второго, кинувшегося сбоку, встретил локтем, от которого тот сел в лопухи и остался там жить. Третий, сторожевой, оказался умнее всех: исчез, не потревожив калитки.

Поп оправил рясу, поднял с земли уроненную погромщиком палку, осмотрел и с сожалением переломил об колено.

— Осина, — пояснил он мне. — Дрянь дерево. Ни жару от него, ни звону.

— Отец... — начал я.

— Никодим, — сказал поп. — А ты — Горев, которого Дырин по городу зорит. Садись, чадо, вон на бревно. Разговор к тебе есть.

Разговор у отца Никодима оказался короткий и деловой, как его локоть.

Выяснилось: расстрига он. За что расстрижен — «за горячность». В чём горячность — «архиерейского эконома в пруд макнул. Трижды. Каюсь: надо было четырежды». При Никольской его держали из милости — звонарём, сторожем и на чёрную работу.

— Я, чадо, в набат тридцать лет быю, — сказал он, глядя на меня сверху, как колокольня на паперть. — И тридцать лет вижу одно: ударю — а бежать некому. Мечутся, орут, крестятся. Церковь в шестьдесят первом годе горела — я бил, покуда ладони не полопались, а толку... Третьего дня, у амбара, — впервые видел, чтоб по набату люди делом встали. Твоя работа?

— Моя.

— Стало быть, так, — Никодим встал, и солнце за его плечами исчезло. — Когда соберёшь своих — а ты ведь собираешь, по глазам вижу, — про меня вспомни. Звонить умею, ломать умею, — он покосился на лопухи, где ворочался погромщик, — носить умею, что скажут. Пить умею, но про то попы недостойные не сказывают.

— Беру, — сказал я. — Прямо сейчас беру, отец Никодим.

— Ну и слава богу, — сказал расстрига и пошёл выкидывать погромщиков за ворота, по одному, как мешки.

Второй вывод: людей мне будет поставлять сам Дырин. Всякий, кого он выгнал, обидел и разорил, — мой. А выгнал и обидел он, судя по всему, пол-уезда.

День третий начался с кражи.

Собственно, с неё началось моё утро: я вышел в сарай и обнаружил, что багров у меня не четыре, а три. Багры были казённые, брошенные после амбара, — я их прибрал со словами «в хозяйстве пригодится», и будочник спорить не стал.

А теперь один багор уходил со двора. Точнее — уплывал: над плетнём двигалось, покачиваясь, железное жало, а под ним семенило нечто мелкое, шустрое, в отрепьях, и волокло древко на плече, как муравей соломинку.

Я перемахнул плетень и взял вора за шиворот на втором шаге.

В шивороте оказалось фунтов сорок живого веса, из которых половина приходилась на глаза. Здоровенные, нахальные, немедленно сделавшиеся честными-пречестными. Пацан. Лет двенадцати, а если отмыть — так и все четырнадцать.

— Пусти, дяденька! — заголосил он на всю улицу. — Люди добрые, средь бела дня дитё душат!..

— Багор куда потащил, дитё?

— Какой багор?! — Он изумился так искренне, что я чуть не выпустил. — Энтот? Дяденька, так я ж его нашёл! Вот те крест — лежит бесхозный, у плетня! Я его, можно сказать, спасал! А за спасённое, — глаза сверкнули деловито, — за спасённое, дяденька, полагается. Ну хоть копеечку. Ну хоть хлебца.

Я поставил его на землю, не выпуская шиворота, и рассмотрел. Тощий, стриженный клоками — видно, от вшей, — цыпки на руках, на скуле старый след от чьей-то щедрой оплеухи. А вот взгляд — не забитый. Взгляд весёлый и голодный, как у воробья.

— Звать как?

— Гришкой. А по-уличному — Синица.

— Чей?

— Ничей, — сказал он с достоинством. — Сам себе.

— Ел когда?

Тут его нахальство впервые дало трещину. Он прикинул, соврать или нет, и решил не тратить сил:

— Вчерась. Полрепы.

— Пошли, — сказал я. — Матрёна щей нальёт. За щи отработаешь: багры чистить будешь, все четыре. И запомни, Синица: за спасённое у меня и правда полагается. А за спёртое — полагается по шее. Различать научу, это просто.

Он шёл рядом, косился на меня снизу и явно пересчитывал в уме — где ловушка. Ловушки не было. Была миска щей, от которой он забыл всё своё уличное красноречие, и был Бубен, который оглядел его, хмыкнул и сказал:

— Годится. Мелкий, в окно пролезет.

— В какое ещё окно? — спросил Синица с набитым ртом.

— В какое велят, — сказал Бубен.

Так нас стало... я посчитал. Я, Бубен, Никодим, Глашка в усадьбе, теперь вот это чудо с багром. Плюс Санька с Микитой на подхвате. Не команда пока. Кучка. Но у всякой команды в первый день именно такой вид, уж я-то знаю — я в жизни три части с нуля поднимал.

А к полудню третьего дня я стоял на пепелище соляного амбара — один.

Купцов не было. Тех самых, степенных, что совали мне узелок и кивали: «придём, батюшка, как не прийти». Я прождал час. Ветер гонял по чёрному полю золу и обрывок рогожи.

Первым не выдержал и пришёл — бочком, озираясь — младший из троих, тот, что с жидкой бородёнкой. Встал поодаль, вздохнул и сказал в сторону:

— Ты, Степан Никитич, не серчай. Мы бы всей душой... Да только Сысой Пантелеич вчерась по рядам ходил. Тихо так говорил, ласково: кто, дескать, с гасильником якшаться станет — тому ни соли, ни найму, ни подвозу. А у нас же семьи... — Он совсем сник. — Ты пойми. Он же нас всех — вот где.

И показал кулак. Маленький, красный, купеческий кулак — в котором их всех держал Дырин.

— Понимаю, — сказал я. — Одно спрошу: а хотели бы? Чтоб не гореть? Чтоб команда была, обоз, труба — как в столицах?

— Да кто ж не хочет, — тоскливо сказал купец. — Мы после того ряда третий год кряхтим... Хотеть-то хотим. Только хотеть — оно бесплатно, а перечить Сысою — дорого.

Он ушёл. А я остался стоять посреди золы, и злость во мне была уже не горячая, а правильная — рабочая.

Ну что, подполковник, обстановка ясна? Купцы хотят, но боятся. Народ пойдёт, но за кем-то. Дырин держит город за глотку — но держит-то он его страхом да откупам, а страх и откупа быются одним: властью, которая выше. Есть в этом городе власть выше Дырина. Воевода. Управа. Государево слово.

Туда и пойдём. Не с протянутой рукой — с предложением, от которого казне выгода, а воеводе почёт. Завтра же.

Я шёл домой через посад и по дороге считал вслух, по своей новой привычке: трое людей и двое на подхвате. Одна труба медная, малая. Четыре багра, из них один — спасённый Синицей. Пять рублей серебром, одна денга. И тридцать четыре дня до Покрова.

Не густо. Но уже и не ноль. Из такого мне уже случалось строить.

У Матрёниного двора было тихо. Слишком тихо: ни Синицы, ни Бубнова ворчания. Все стояли у ворот, кучкой, и молчали. Даже Никодим.

Я подошёл и увидел, на что они смотрят.

На воротах, на серых досках, углём — жирно, размашисто, во всю створку — был нарисован петух.

Гребень, клюв, хвост серпом. Наспех, но уверенно: рука не первый раз выводила эту птицу.

— Вечор не было, — сказал Бубен тихо. — Я до сумерек тут курил. Чистые были ворота.

Все смотрели на петуха. А я смотрел на петуха и видел страницу отцовской тетради, ровные злые строки: «Перед каждым — метка. От метки до огня — девять ден. Проверено трижды».

Девять дней.

Я поймал себя на том, что считаю от сегодняшнего. Выходило — аккуратно на исходе первой недели сентября. И тут же одёрнул: стоп. Ты не знаешь, чья это метка. Настоящий Петух ставит своё клеймо перед делом — или дыринские холуи намалевали, чтобы пугнуть вдову, приютившую неудобного барчука? Как выглядит настоящая метка, отец описать не успел: те листы вырваны.

Либо мне пугают старуху. Либо мне только что назначили день и час.

— Стереть? — Синица уже слюнявил рукав.

— Нет, — сказал я. — Не трогать.

Все обернулись. Я подошёл к воротам вплотную и присел, разглядывая: уголь, крошки его на земле, высота росчерка — рисовал человек невысокий или согнувшийся...

— Пусть висит, — сказал я. — Метку ставят, чтобы бояться. А мы сделаем наоборот: мы возле неё караулить будем. По очереди, с сегодняшней ночи. Кто её ставил — тот придёт проверить. Они всегда приходят проверить.

— А ежели придёт... энтот? — Синица понизил голос. — Ну... который перьями?..

Бубен отвесил ему подзатыльник — легонько, чтоб не сбить с ног. Но я заметил: сам Бубен при этом перекрестился. И Никодим перекрестился. И Матрёна в дверях.

Они все знали про перья. Весь уезд, похоже, знал про перья — и молчал, как молчат про домового.

— Ежели придёт который перьями, — сказал я, — то ему не повезло. Потому что теперь здесь живу я.

Прозвучало самоуверенно. Даже, пожалуй, глупо. Но Синица перестал коситься на ворота, Бубен хмыкнул с одобрением, а Матрёна ушла греметь заслонкой — стряпать на всю ораву.

А я стоял и смотрел на угольного петуха, и в затылке у меня тикало: девять дней. Может, пустое. Может, дыринская пугалка.

А может, у меня теперь два счётчика: тридцать четыре дня до Покрова — и девять до огня.

Глава 8. Правое слово

Дырин выходил из воеводской управы, когда я в неё входил.

Мы разминулись на крыльце. Он приподнял шапку — вежливый, гладкий, довольный, как кот из погребка, — и сказал только одно слово:

— Опоздали-с.

И пошёл себе, не оборачиваясь. А я остался стоять с очень нехорошим предчувствием и с прошением за пазухой, которое мы с Никодимом вчера полвечера сочиняли, спалив три свечи: «...об учреждении в городе Крапивне пожарной команды из вольных людей, с правом сбора огневого рубля с торговых рядов...»

Предчувствие меня не обмануло. Обмануло оно меня только в размерах.

Воевода Селиванов оказался человеком-подушкой: мягкий, рыхлый, в засаленном шлафроке поверх мундирного камзола, с глазами, которые больше всего на свете хотели, чтобы их не трогали. Он выслушал меня, не дослушал, отмахнулся от бумаги, как от осы, и сказал в пространство:

— Каланчи ему... Команды ему... Рубль огневой собирать — эва! А из чьих, спрашивается, рядов рубль? Из дыринских рядов рубль?

Вот и вся загадка «опоздали-с». Дырин пришёл первым и всё объяснил: чьи в городе ряды, чья соль и чей, соответственно, воевода.

Но уйти мне не дали.

В углу приказной избы, у окна, скучали двое военных — я их заметил, да значения не придавал. Зря. Один был тот самый поручик Костров, что на площади сжёг доску, — он проездом застрял у воеводы, ждал каких-то подорожных. Второй — молоденький, белобрысый, с погоном подпоручика и очень скучающими глазами. Из свиты переписчика, остался листы дооформлять. Клоков ему была фамилия, я потом узнал.

— Погоди-ка, — лениво сказал Костров, разглядывая меня, как таракана в супе. — Это ж тот. Гасильник. Который лучину казнил.

Клоков хихикнул.

— Слыхал, Клоков? Пожарную команду ему. — Костров поднялся, потянулся, хрустнув, и пошёл на меня через избу. — Ты, водолей, вообще понял, куда влез? Огонь — дело благородное. Огнём Дары воюют, города берут. А ты его — ведёрком? Тряпкой? — Он остановился в шаге и оглядел меня сверху вниз, хотя был ниже. Умеют же люди. — Гасильники... Тьфу. Порода холопы. Огню не служите — огню прислуживаете. Правильно вас в старину...

Он не договорил, что «правильно в старину». Улыбнулся только.

Я много чего умею спускать. Служба научила: орут — слушай, оскорбляют — считай до десяти, работа дороже гонора. Но тут был не гонор. Тут, в этой приказной избе, при воеводе, при писарях, решалось простое: можно об Горевы вытирать ноги или нельзя. Спущу — и слух пойдёт по уезду со скоростью пожара: можно. И тогда ни команды, ни откупа, ни трёхсот рублей — битому барчуку не дают ни денег, ни людей.

— Господин поручик, — сказал я ровно, — вы сейчас оскорбили мой род. При свидетелях.

— О-о! — восхитился Костров. — И что же ты сделаешь? На дуэль позовёшь? Так я с холопией породой не стреляюсь, честь не велит...

— Зачем стреляться. — Я повернулся к воеводе. — Мы оба в огневой росписи. Я требую правого слова.

Стало тихо. Писарь за конторкой перестал скрипеть. Воевода приоткрыл один глаз, потом второй — впервые за весь разговор я увидел их целиком.

— Правое слово, — повторил он с тоской человека, у которого посреди сна упал на ногу шкаф. — Ты, Горев, в уме ли? Правое слово — оно ж... По уложению-то оно, конечно... — Он посмотрел на писаря. Писарь, сглотнув, кивнул: по уложению. — Одарённый супротив одарённого, при свидетелях, в кругу... Да он же тебя спалит, дурня!

— Не он, — вдруг сказал Костров.

Он уже не улыбался. Оскорбление оскорблением, а правое слово — штука, как я понял, серьёзная: отказаться — самому чести лишиться.

— Не я, — повторил он с сожалением. — Мне, водолей, с тобой становиться — что с петухом бороться: победишь — смеху, проиграешь — сраму. Роспись глянё: где я, где ты. Уложение позволяет выставить равного. — Он щёлкнул пальцами. — Клоков!

Белобрысый подпоручик поперхнулся.

— Господин поручик, я...

— Ты, ты. Три тысячи восемьсот шестой — самое ему по росту. Проучи холопа, чтоб впредь на благородный Дар рта не разевал. Заодно и я развлекусь: скука тут у вас смертная.

Клоков посмотрел на Кострова. На меня. Снова на Кострова. И по мальчишескому его лицу прошло всё сразу: и страх, и азарт, и главное — невозможность отказаться при старшем.

— Извольте, — сказал он и стал бледный, но решительный.

— На площади, — распорядился воевода, окончательно проснувшись. Ему, я видел, уже и самому стало интересно — как всем, кому не гореть. — При народе, по уложению. До трёх падений. Писаря — с книгой!

Слух облетел Крапивну быстрее меня.

Когда мы вышли на площадь, там уже стояло полгорода. Круг вычертили прямо в пыли — сажень десять поперёк, — по краю встали солдаты с батогами, осаживать зевак. Народ лез на возы, на заборы, на весовую. Я увидел в толпе своих: Никодим возвышался, как колокольня, рядом прыгал Синица, и даже Бубен приковылял на костыле, злой и торжественный.

— Барин! — Синица прорвался под локтями. — Барин, а на вас ставят!

— И почём я?

— Один к двадцати! — Синица сиял. — Я на вас копеечку поставил! У Фильки-шорника цельный четвертак стоит против!

Один к двадцати. Спасибо, город Крапивна, за прямоту.

Правила мне зачитал писарь, по книге, скороговоркой: в кругу двое, выходить нельзя, оружие нельзя, только Дар и тело; сбитый наземь трижды — проиграл; кто сдался — проиграл; насмерть — нельзя, но «за увечья по горячности взыску нет». Утешительно.

Клоков в кругу перекрестился и снял мундир. Под мундиром он был тощий, как я, только кормленный. Ладони его уже светились — по пальцам бегали рыжие ленточки, стекали и гасли у ног.

А я, выходя в круг, сделал вещь, которая привела площадь в восторг: снял сапоги.

— Босой! Босой пошёл! — заржали с возов. — Пятки бережёт!

Пятки, родимые. Всё для вас.

Ночью прошёл дождь — первый за две недели, — и площадь, сверху уже подсыхая, в низинке у коновязи стояла тёмная, сырая. Я это место приметил ещё днём. Земля там была — как раз то, что нужно человеку моей профессии: мокрая, плотная, жадная до тепла.

Потому что план у меня был из одного пункта, и пункт был такой: я понятия не имел, сколько огня способен взять. Лучину брал. Полтора метра горячей соломы взял — и получил кипяток под кожу. Что будет, если в меня плеснут настоящим боевым жаром, я не знал, и проверять это на середине круга, на сухом месте, дураков не было.

Значит, не брать. Значит — сливать. Огонь всегда куда-то идёт, весь вопрос — кто выбирает дорогу.

— Сходитесь! — крикнул писарь.

Клоков ударил сразу, с двадцати шагов, — молодец, не стал красоваться. Рыжая плоть распустилась от его руки и хлестнула через круг, на уровне груди.

Я уже падал. Не от страха — по науке: под плетью, перекатом, чувствуя, как над спиной прошло сухое, злое, взъерошившее рубаху тепло. Толпа ахнула. Я встал уже на пять шагов левее и на пять ближе к мокрой низинке.

— Стой смирно, холоп! — звонко, срываясь, крикнул Клоков и ударил снова.

И снова я не стоял смирно. Я делал самую унижительную, самую немужественную вещь, какую можно делать в кругу на глазах у половины города: я бегал. Перекатом, приставным, рывками — держась низа, где земля сырее, заставляя его бить вслед, вслед, вслед.

— Да он бегаёт! — веселилась площадь. — Держи водолея! Ужёт — смирнее станет!..

Пусть веселится. Я в это время работал: считал. Четвёртая плеть — жижее третьей. Шестая — короче. Парень лупил от плеча, широко, по-барски, не жалея, — его никто, похоже, не учил, что огонь надо экономить. Его вообще, похоже, ничему не учили: Дар — он от рождения, зачем благородному человеку учиться.

А у всякого огня, ребята, есть подача топлива. И она конечна.

На десятом ударе я подпустил плеть ближе — нарочно. Она лизнула меня по плечу, рубаха затлела, толпа взревела. Больно было всерьёз, до искр из глаз. Зато Клоков увидел: достаёт! — и дал залп. Всё, что оставалось, одним широким веером, на полкруга, с победным мальчишеским «а-а-а!».

Веер пришёл на низинку. На мокрое. Туда, где стоял я — босыми ногами на сырой земле.

И я сделал то, что репетировал два вечера на печном огне у Матрёны, пока Никодим косился и крестился: не выставил руки, не зажмурился — открылся. Как открывают ворота.

Сюда. Через меня. Вниз.

Это как встать под водопад, только водопад — из кипятка, а ты — труба. Жар вломился в меня через грудь, через плечи, взвыл в костях — и ушёл. В ноги. В мокрую землю, которая приняла его жадно, всем своим дождём. Из-под моих ступней плеснуло паром — белым, шипящим; запахло банным камнем, и на сажень вокруг меня земля вдруг задымилась и высохла, посветлев.

А я стоял. Целый. В кольце пара, как чёрт в бане.

Площадь замолчала так, что стало слышно, как у коновязи хрумкает лошадь.

Клоков смотрел на меня через круг. Он был белый. Он выдал в этот веер всё — я видел: ленточки на его пальцах истончились, задрожали, стали из рыжих желтоватыми, как у свечки на сквозняке. Он поднял руку для нового удара — рука дала жиденький сноп искр и погасла.

Пусто.

— Ты... — просипел он. — Что ты...

Дальше было не по-геройски и очень просто. Я пересёк круг — он попятился, споткнулся, махнул кулаком, я убрал голову, — и аккуратно, по-борцовски, свалил его подсечкой. Раз. Он вскочил, кинулся — сгоряча, слепо; я поймал его за руку и уложил снова, мягко, себе под ноги. Два.

На третий раз он подниматься не стал. Сел в пыли, обхватил колени и заплакал — беззвучно, по-мальчишески, от бессилия и позора.

И вот тут мне стало его жалко. Восемнадцать лет дураку. Его сюда Костров загнал, как гончую в лужу, — для развлечения.

Я присел рядом на корточки, спиной к толпе, чтобы никто не видел его лица.

— Слышь, подпоручик, — сказал я тихо. — Ты не пустой. Ты необученный. Огонь беречь надо, подавать коротко, в цель. Тебя ж как учили? Никак. Выправишься.

Он поднял на меня мокрые бешеные глаза:

— Ты... зачем это говоришь?

— Затем, что через десять лет ты будешь кому-то командир. Вспомнишь.

Я встал и повернулся к писарю:

— Падений — три. Записывай.

Записали, как в уложении: «правым словом одолел». Писарь, шурша листами, скучным голосом объявил то, от чего у площади второй раз за час отвисла челюсть:

— По уложению о росписи: одолевший в правом слове заступает место одолённого, буде оное выше его собственного. Горев Степан Никитин сын — место три тысячи восемьсот шестое. Клоков — четыре тысячи сто семнадцатое.

Триста одиннадцать мест. За один вечер. Так, значит, эта лестница работает: по ней можно идти не только вниз.

Толпа загудела — уже не насмешливо, а озадаченно, вполголоса, как гудят над упавшими ценами. Кто-то из мужиков стянул шапку — не понял зачем, но стянул. Синица где-то в задах толпы бился в счастливой истерике: его копеечка превратилась в двугривенный. Бубен, когда я проходил мимо, сказал только:

— Ну, барин... — и покрутил седой головой. У него это, как я потом узнал, была высшая степень похвалы.

А у крыльца управы меня ждал воевода. И вот он-то смотрел на меня без всякого восторга. Он смотрел на меня, как человек, у которого проблема не рассосалась, а выросла: был безвестный барчук-водолей — стал победитель правого слова, при всём городе. Такого уже не выставишь из приказной избы взмахом руки.

— Ловок, — сказал воевода кисло. — Ловок, ничего не скажешь... Ладно. Будет тебе ответ на прошение, Горев. При всех — слушай.

Он вышел на верхнюю ступень, огладил шлафрок и возвысил голос, чтобы слышала площадь:

— Просился Горев пожарную команду в городе учредить и рубль огневой собирать! Так я, воевода, отвечаю: докажи! — Он поднял толстый палец. — Тридцать дней тебе. Коли за тридцать дней в городе Крапивне ни единого двора не выгорит — быть по сему: и команде, и откуп, и рублю. А выгорит хоть один двор, — палец опустился и упёрся в меня, — стало быть, грош цена тебе и затее твоей. И пойдёшь ты у меня, как недоросль без дела шатающийся, — в солдаты. По закону.

Он был доволен собой, как кот. Ещё бы: и народу — щедрость, и Дырину — услуга, и себе — покой. Город, который горит каждый месяц, — и «ни единого двора» за тридцать дней. Невыполнимо. Законно. Красиво.

Площадь молчала, ждала.

Считаем. До Покрова — тридцать три. Солдатчина — это не про меня даже, это про Горевку: заберут в полк — и усадьба уйдёт Дырину сама, без хлопот. Стало быть, два счётчика сходятся в один узел, и узел затянул не Дырин даже — вон он, у рядов, слушает, сияет, — а эта подушка в шлафроке, которой Дырин напел.

С другой стороны... Мне ведь всё равно нужно ровно это: чтобы город не горел. Мне за это даже заплатят — если выживу.

— Принимаю, — сказал я громко. — Пишите, господин воевода: тридцать дней. Только уговор — за мной право дозоры ставить, куда сочту нужным. Хоть бы и у ваших рядов, — я поклонился в сторону Дырина, — Сысой Пантелеич.

— Ставь хоть у себя на лбу, — хмыкнул воевода, и площадь заржала, довольная: представление удалось.

Расходились долго, шумно, пересказывая друг другу пар из-под моих пяток. Бубен ковылял рядом и бурчал под нос что-то артиллерийское. Синица звенел выигрышем. Никодим молчал, а потом выдал:

— В солдаты, стало быть, или в откупщики. Узкая у тебя дорожка, чадо.

— Зато прямая, — сказал я.

Сводка вечером, у Матрёниной печи, вышла такая: место в росписи — три тысячи восемьсот шестое, вслух приятно. Плечо — жжёное, терпимо. Людей — четверо и двое на подхвате. Денег — пять рублей, денга и Синицын двугривенный, который он торжественно внёс «в артель».

И два счётчика на стене, углём, рядышком, чтоб не забывались: «до Покрова — 33». И новый, свежий: «ни одного двора — 30».

А под ними я, подумав, приписал третий. Тот, который не объяснить ни Матрёне, ни воеводе: «метка на воротах — осталось 8».